SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Берта Порозовская
  -
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Источники
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

Берта Порозовская
Людвиг Бёрне. Его жизнь и литературная деятельность

Биографический очерк Б. Д. Порозовской с портретом Людвига Бёрне гравированным в Лейпциге Геданом

Глава I

Семья Барухов и положение евреев во Франкфурте. – Детские годы Бёрне. – Первоначальное воспитание. – Яков Сакс и его влияние на Бёрне. – Первое чтение. – Пребывание в Гиссене и поездка в Берлин.

Во Франкфурте-на-Майне, в одном из домов еврейского квартала, 6 мая 1786 года происходило скромное семейное торжество: у еврея Якова Баруха родился второй сын, которому дано было имя Лёб. Маленький Лёб Барух и был тем Людвигом Бёрне, которого в настоящее время Германия с гордостью причисляет к своим сыновьям.

Семейство Барухов принадлежало к самым уважаемым членам еврейской общины во Франкфурте. Глава семьи, дед будущего писателя, жил обыкновенно в Бонне и только время от времени наезжал во Франкфурт, чтобы обсудить со своими сыновьями какую-нибудь важную финансовую операцию. Это был умный старик, славившийся своею благотворительностью, умевший держать себя в большом свете, к тому же полудипломат. Одно время он состоял финансовым агентом при кельнском курфюрсте и часто исполнял для него весьма важные дипломатические поручения. Когда курфюршеский престол сделался вакантным, он содействовал своим влиянием избранию одного из австрийских эрцгерцогов и таким образом снискал себе благоволение Марии Терезии, которая в собственноручном послании выразила ему свою благодарность и обещала, что он и его потомство всегда найдут покровительство при венском дворе. Сыновья старого Баруха, учившиеся в Бонне, были школьными товарищами Меттерниха, с которым и впоследствии сохранили связи, что давало повод отцу Бёрне, говоря о первом министре Австрии, выражаться – *«мой друг* Меттерних». Благодаря этим связям дела Барухов процветали. Они часто получали от правительств очень выгодные подряды, и Яков Барух, поселившийся во Франкфурте, но ведший дела совместно с отцом, на которого походил умом и тактичным обращением, пользовался все более и более возраставшим благосостоянием.

Несмотря, однако, на эту материальную обеспеченность, избавившую будущего писателя от тех лишений и преждевременных забот о насущном, которые так часто омрачают юность многих талантливых людей, впечатления, вынесенные Бёрне из этого периода своей жизни, были далеко не отрадного свойства. Прежде всего – Бёрне родился евреем, и к тому же франкфуртским евреем! А это значило, что будущий пламенный

борец за свободу должен был с самых ранних лет испытывать всю горечь и унизительность лишения свободы, должен был на собственном опыте познакомиться с самыми дикими, нелепыми проявлениями религиозной и национальной нетерпимости. Действительно, как ни низко было еще в то время политическое и гражданское положение евреев в Германии вообще, но в «вольном» имперском городе Франкфурте-на-Майне они подвергались особенно тяжелому гнету. Евреи все еще оставались здесь париями общества, загнанными в особый квартал, в это отвратительное средневековое «гетто», тесное и мрачное, как тюрьма, из которого они выпускались в остальные части города только днем. По ночам (а в воскресные дни уже с четырех часов пополудни) Judengasse запиралась цепями, и евреи под страхом наказания не смели более выходить из своего заточения. Исключения допускались только в том случае, когда требовалась помощь врача или лекарство из аптеки. С какою горькою иронией Бёрне впоследствии вспоминает о «нежной» заботливости франкфуртских властей, не дозволявших евреям ходить по многим улицам города, – вероятно, потому, что последние имели очень скверную мостовую, – требовавших, чтобы на других улицах они не ходили по тротуарам, а держались пыльной проезжей дороги. Когда еврей проходил по улице и какой-нибудь уличный мальчишка или пьяница кричал ему: «Mach Mores, Jud» (поклонись, жид), – тот должен был немедленно снимать шляпу. О каких-либо гражданских правах при таком отношении, конечно, не могло быть и речи. Евреи раз и навсегда обречены были заниматься торговлей, всякая другая профессия была для них закрыта. Правда, им дозволялось еще заниматься медициной, но и то с ограничениями: в городе допускались лишь четыре врача-еврея. Даже жениться еврей не мог беспрепятственно: в год разрешалось не более 15 браков!

Грустно, удручающе бесцветно должно было пройти детство Бёрне в душной, спертой атмосфере, созданной для его единоверцев всеми этими тяжелыми условиями. Да и в буквальном смысле здесь чувствовался недостаток в свете и воздухе. В узкой еврейской улице, между скученными домиками с выступающими крышами, еле пропускавшими солнечные лучи, не видно было нигде зеленого уголка, тенистого садика, где бы звонко и радостно раздавался беззаботный детский смех. Шумная веселость, беспечное наслаждение жизнью здесь были незнакомы даже детям. На всех лицах – печать какой-то придавленности, вечная озабоченность. Вспоминая о своем детстве, впечатлительный, чуткий ко всему поэтическому Бёрне не может остановиться ни на одном приятном, идиллически трогательном

эпизоде.

Но и в более тесной домашней обстановке мальчику жилось невесело. Отец, вечно в разъездах, являлся домой строгим патриархом, требовавшим от домашних безусловного повиновения; детей он хотя и любил, но из принципа не проявлял к ним никакой нежности. Мать, женщина замечательно красивая, но совершенно незначительная, также уделяла ребенку мало внимания. Бёрне очень редко вспоминает о ней в своих письмах, хотя она пережила его, и это одно уже показывает, какую ничтожную роль она играла в его жизни. Болезненный, менее красивый, чем братья, не умевший ласкаться, подобно им, маленький Лёб не был ее любимцем, и она открыто выказывала другим детям свое предпочтение. В довершение всего, старая служанка Элла, заправлявшая всем домом, также не благоволила к строптивому мальчику, неохотно подчинявшемуся ее деспотическому управлению, и отравляла ему жизнь мелкими придирками и гонениями.

Таким образом, мальчик рос одиноко, без ласки, как бы заброшенный. От природы робкий, сдержанный, он и самим окружением был вынужден замыкаться в самом себе. В том возрасте, когда другие дети только и думают, что об играх и шалостях, Бёрне обнаруживал уже необыкновенную серьезность и вдумчивость. Говорил он мало, но в его коротких замечаниях часто проглядывал меткий, недюжинный ум. Еще мальчиком он проявлял большое остроумие, которым пользовался как орудием в борьбе со своим домашним тираном – старой Эллой. «Ты попадешь после смерти в ад!» – воскликнула однажды старуха, возмущенная тем, что он так неохотно исполнял религиозные обряды. «Мне очень жаль, – бойко ответил мальчуган, – потому что тогда и на том свете я не буду иметь от тебя покоя». Один только дедушка Барух чувствовал симпатию к мальчику, и когда однажды кто-то стал жаловаться при нем на молчаливость Лёба, старик горячо заступился за внука: «Оставьте мальчугана в покое! Увидите – он еще сделается великим человеком». Слова эти впоследствии вспоминались родными Бёрне как пророческое предсказание.

Обыкновенно такое раннее знакомство с людскою несправедливостью, отсутствие теплой родительской ласки ожесточают детское сердце, делают его черствым и злым. На Бёрне эти условия, к счастью, подействовали иначе. Чувствуя себя в семье как бы чужим, он только все более уходил в себя и сам привыкал мало-помалу смотреть безучастно на все окружающее. Мелкие домашние происшествия, обыкновенно занимающие детские мысли и воображение, не производили на него никакого

впечатления, и даже к собственным обидам он не проявлял особенной чувствительности. Если что-нибудь ему не нравилось, казалось ненормальным, он выражал свои чувства только презрительным замечанием: «Как это глупо!» Редко случалось, чтобы мальчика что-нибудь сильно обрадовало или огорчило. Он почти никогда не плакал, и только когда замечал несправедливость к другим, когда сталкивался с теми «глупыми» стеснениями, каким подвергались франкфуртские евреи, он выходил из себя и в страстных выражениях давал волю своему негодованию.

Кто знает, однако, – может быть, эти ненормальные условия развития в конце концов извратили бы благородную натуру Бёрне, если бы в окружавший его мрак одиночества вовремя не проник луч ласки и привета. К счастью, мальчик скоро нашел человека, который искренне привязался к нему и приложил все старания, чтобы ненависть и озлобление не проникли в столь часто оскорбляемую детскую душу. Это был учитель Бёрне – Яков Сакс, образованный молодой человек, прекрасный педагог, проникнутый гуманными просветительскими идеями эпохи, горячий поклонник Мендельсона и Фридлендера, стремившихся к реформе еврейства. Когда он впервые вступил в дом Баруха и увидел своих будущих воспитанников, то принял одного из мальчиков, безучастно стоявшего в стороне в то время, когда два других постоянно вертелись около матери, за чужого или приемыша. Сакс скоро почувствовал особенное расположение к маленькому дикарю, который с таким вниманием прислушивался к его словам и был гораздо прилежнее и любознательнее остальных братьев. Правда, мальчик Бёрне не обнаруживал особенно блестящих способностей, но однажды воспринятое он прочно сохранял в памяти. Часто, когда, по мнению учителя, он уже давно успел позабыть данное ему объяснение по поводу заинтересовавшего его вопроса, мальчик снова возвращался к этому предмету и делал такие замечания, которые, несомненно, свидетельствовали о сильной и непрерывной работе мысли. Саксу нетрудно было убедиться, что из его воспитанников средний более всех подает надежду со временем сделаться ученым, и он с особенным усердием занялся его развитием.

К сожалению, влияние Сакса во многом парализовалось теми условиями, какие ему были поставлены отцом Бёрне. Яков Барух, несмотря на полученное им европейское образование, утонченные манеры и частые связи с христианами, решил, что первоначальное образование детей должно быть исключительно еврейское, совершенно в традиционном духе. Будучи сам довольно свободомыслящим в религиозных вопросах, он

придерживался, однако, принципа, что молодые люди должны быть воспитаны в строгом повиновении и почитании закона. К тому же его официальное положение представителя еврейской общины также налагало на него известную обязанность не уклоняться от старины. Он потребовал поэтому от домашнего учителя, чтобы тот воспитывал детей в строго ортодоксальном духе, не знакомя их с результатами новомодного просвещения, и Сакс скрепя сердце подчинился этой программе. Таким образом, мальчик раньше всего познакомился с еврейским языком. Под руководством Сакса он изучал Библию и начала Талмуда, но изучал их совершенно механически, без всякого интереса, и еще более механически исполнял многочисленные обрядовые предписания еврейской религии. Его сердце совершенно не лежало к устарелым формам еврейского культа; синагога, куда он должен был два раза на день приходить на молитву вместе с учителем, не вызывала в нем никакого благоговейного чувства. Ему нравились только те молитвы, которые носили поэтическую окраску; все остальное, сохранившее лишь историческое значение, вызывало у него обычное замечание: «Как это глупо!» К тому же от его проницательного взгляда не могло укрыться, что и сам его воспитатель относится совершенно равнодушно к формальной стороне религии, и, таким образом, результатом воспитательной системы Баруха оказалось лишь то, что Бёрне не только не приобрел прочной еврейской закваски, как ожидал его отец, но свою антипатию к неэстетической внешней стороне религии перенес и на самое еврейство. Полученное им еврейское образование пустило такие слабые корни, что, очутившись на свободе, Бёрне в короткое время перезабыл все пройденное и впоследствии с трудом мог даже читать по-еврейски, несмотря на то что 14-летним мальчиком удивил своими познаниями в этом языке известного ориенталиста, профессора Гецеля. Истинный дух еврейства, которому Гейне, несмотря на свое крещение, оставался верен всю жизнь – начиная с «Альманзора» и кончая «Признаниями», заключающими такие восторженные отзывы о еврейском народе и его учении, – для Бёрне так и остался чуждым. Он симпатизировал своим единоверцам только как несправедливо угнетаемым людям и, защищая их права, ратовал лишь за попираемое в их лице человеческое достоинство.

Но если Саксу не удалось побороть религиозный индифферентизм Бёрне, зато в другом отношении влияние его было тем сильнее и благотворнее. Сакс особенно заботился о том, чтобы возмущение мальчика унизительным обращением с франкфуртскими евреями не перешло в ненависть к их обидчикам. Это была, конечно, нелегкая задача. Пытливый ум

будущего проповедника свободы то и дело останавливался перед каким-нибудь новым вопиющим фактом, и учителю стоило немало труда, чтобы представить эти факты в более мягком, примирительном свете. Гуцков передает следующее характерное замечание мальчика, в котором уже слышится будущий Бёрне. Однажды он предпринял со своим ментором прогулку в христианскую часть города. Полил дождь, и на улицах образовалась непролазная грязь. «Перейдем на тротуар», – предложил Бёрне. «Разве ты не знаешь, – заметил ему Сакс, – что нам, евреям, запрещено ходить по тротуарам?» – и на возражение мальчика, что ведь никто-де их теперь не видит, стал ему толковать о святости законов. «Глупый закон! – перебил его мальчик. – Если бы бургомистру вздумалось запретить нам топить зимой, так мы должны были бы замерзнуть?» Мудрено было, конечно, Саксу убедить своего воспитанника в святости и целесообразности подобных законов, и, когда однажды в воскресенье караульный солдат не пустил его за ворота улицы, мальчик мрачно заметил учителю: «Я не выхожу лишь потому, что солдат сильнее меня». Тем не менее влиянию Сакса Бёрне главным образом обязан тем, что его возмущение против притеснений евреев не сопровождалось злобным чувством к их притеснителям-христианам, не породило в нем жажды мести. Сакс постоянно внушал мальчику, что бесправное положение евреев в Германии есть только частный факт среди всеобщего угнетения слабых сильными, что виновато в нем не христианство, а человеческая неразвитость и предрассудки, и Бёрне, научившись, таким образом, ненавидеть сам источник зла, стал менее чувствительным к отдельным его проявлениям. Еврейское происхождение будущего немецкого патриота и тяжелые впечатления, вынесенные им из детства, отразились на его позднейшем направлении лишь в том отношении, что внушили ему особенно горячее сочувствие ко всем угнетенным вообще, без различия национальности. Франкфурт с его позорными законами о евреях был для Бёрне лучшей школой, в какой только он мог воспитать в себе любовь к свободе. «Да, именно потому, что я родился рабом, свобода милее мне, чем вам, – говорил впоследствии Бёрне тем из противников, которые попрекали его еврейским происхождением, – да, именно потому, что я был в школе рабства, я понимаю свободу лучше вас. Да, оттого что у меня не было при рождении никакого отечества, я жажду приобрести его гораздо сильнее, чем вы, и вследствие того, что место, где я родился, было ограничено одной еврейской улицей, за запертыми воротами которой начиналась для меня новая земля, мне недостаточно теперь иметь отечеством ни город, ни

провинцию, ни целую область: я могу довольствоваться только всею великою отчизною, на всем пространстве, где звучит ее язык».

Чтение книг, к которому пристрастился мальчик, также содействовало его развитию в том же направлении. Сакс познакомил его с немецкой литературой, и перед мальчиком, просиживавшим над книгами, не отрываясь, все свободное время, открылся новый мир. Читал он все что ни попадалось под руку, но особенно сильное впечатление производили на него сочинения Шиллера и Жан-Поля Рихтера. Да и само время было такое, что мысль любознательного мальчика постоянно была в напряжении. Детство Бёрне совпало со знаменательной эпохой Великой революции, и, как ни замкнут был еврейский уголок во Франкфурте, события, потрясавшие Францию, а вместе с ней и всю Европу, находили себе отголосок и здесь. Еврейская молодежь устроила клуб, в котором собиралась обмениваться впечатлениями и взглядами по поводу новостей дня. Сакс, бывший одним из усердных посетителей клуба, часто брал с собой туда и своих воспитанников. Конечно, Бёрне был еще слишком молод, чтобы понимать все, о чем здесь говорилось, – но в то время, когда его братья беспечно играли с другими детьми, он внимательно прислушивался к рассуждениям старших и по возвращении домой забрасывал учителя вопросами о том, что казалось ему неясным. Мало-помалу 12-летний мальчик создал себе особый возвышенный мирок, не имевший ничего общего с окружавшей его действительностью. Свобода мысли, равенство и братство людей, гуманность и справедливость – все эти слова, звучавшие тогда так ново, производили на него неотразимо обаятельное впечатление. Вместе с этим росло и его отчуждение в кругу домашних. Взгляды отца, его постоянные наставления в духе мещанской морали раздражали его, заставляли скрывать шевелившиеся в нем мысли и чувства. Мальчик мечтал только о том, как бы вырваться из душной домашней обстановки с ее меркантильными интересами, увидеть самому тот широкий свет, о котором он знал лишь по книгам и который манил его к себе со всей прелестью неизведанных ощущений поэзии и свободы.

Яков Барух, получивший сам хорошее образование, конечно, не думал ограничивать образование своих детей одним лишь изучением еврейского языка. Когда, по его мнению, они оказались уже достаточно твердыми в знании закона, программа была расширена. Бёрне стал брать уроки у нескольких учителей, к которым ходил на дом, так как в то время христианские учителя не соглашались приходить на уроки в еврейскую улицу. Учитель чистописания Эрнст и эмигрант аббат Маркс, учивший его

французскому языку, оставили в нем особенно приятные воспоминания благодаря их гуманному обращению с еврейскими учениками, которых ничем не отличали от их христианских товарищей. Уроки латинского языка он брал у ректора гимназии, Моше. Бёрне учился даже музыке – игре на флейте. В общем, однако, образование его было лишено всякой системы.

Только когда Бёрне минуло 14 лет, отец принял на его счет окончательное решение. Успехи мальчика в науках, его любознательность и явная антипатия, которую он обнаруживал к окружавшей его деловой атмосфере, должны были привести отца к мысли, что из его второго сына никогда не выйдет дельный купец и что единственное поприще, на котором он будет иметь успех, – научное. Широкого выбора специальностей не предоставлялось: медицина была единственной либеральной профессией, доступной еврею, и Барух решил, что сын его будет врачом. Сам Бёрне отнесся к этому решению совершенно равнодушно. Честолюбие, которое так часто развивается в детях школьной жизнью с ее системой наград и отличий, было ему, воспитанному при условиях, исключавших всякое соревнование, совершенно незнакомо. Он не чувствовал также никакого особенного влечения к той или другой науке. Решение отца относительно будущей его карьеры имело для него значение лишь настолько, насколько оно обусловливало собой непосредственную перемену в его жизни. Дело в том, что для подготовки Бёрне к поступлению в университет приходилось отправить его в какой-нибудь христианский пансион, и, таким образом, заветная мечта мальчика – вырваться на волю – наконец должна была осуществиться. По совету Сакса, решено было отправить его в университетский город Гиссен, в недавно учрежденный пансион профессора-ориенталиста Гецеля.

С каким облегчением вздохнул Бёрне, когда наконец весной 1800 года в сопровождении своего учителя оставил за собою стены ненавистного Франкфурта и почувствовал себя на свободе, вдали от тяготившего его гнета мелочных религиозных предписаний и отцовских наставлений. Уже одна дорога в Гиссен, отстоявший на день пути от Франкфурта, – дорога, ведшая через живописный зеленый ландшафт, привела его в полный восторг. А в самом Гиссене!.. Здесь все было так ново, так непохоже на прежнюю обстановку!.. Профессор Гецель – при всей своей учености веселый, остроумный человек; открытый дом – где собирались такие же жизнерадостные, как хозяин, его коллеги и молодые студенты и где царствовал самый непринужденный тон; молоденькая дочь профессора – хорошенькая Генриетта, весьма благосклонно относившаяся к новому пансионеру… Бёрне

показалось, что он попал в настоящий земной рай. Лучше всего было то, что здесь никто не думал смотреть на него свысока из-за его еврейского происхождения. Дукаты его отца доставляли ему всевозможные удобства, и Луи, как его теперь называли, впервые зажил беззаботной, ничем не омрачаемой жизнью.

Занятия, правда, шли при этом не блестяще. Пансион Гецеля, о котором Сакс получил хорошее мнение лишь по газетным рекламам, оказался существующим пока лишь в проекте. По совету Гецеля, Бёрне имматрикулировался в университет, но учился он дома под руководством приглашенных Гецелем преподавателей. Беспрестанные гости в доме, частые parties de plaisir по окрестностям, в которых принимал участие и Луи, – как ни благодетельно действовали на робкого, чуждавшегося света юношу, – не могли, очевидно, благоприятствовать занятиям. По самой своей натуре и отчасти слабости здоровья Бёрне не отличался усидчивым прилежанием. Учился он посредственно, и учителя не замечали в нем никаких выдающихся способностей, хотя и не могли ему отказать в некоторой оригинальности ума. Единственным ценным результатом его пребывания в пансионе было то, что он усвоил себе здесь правильный немецкий язык вместо того немецкого жаргона, который господствовал в еврейском квартале.

Пребывание в Гиссене не было, впрочем, продолжительным. Пансион не приносил Гецелю тех выгод, которых он ожидал, и, находясь в стесненных обстоятельствах, он принял в 1801 году приглашение на кафедру восточных языков при Дерптском университете. Заведение его перешло к профессору статистики Крому, у которого Бёрне остался еще до конца ноября 1802 года. Пора было начать уже собственно медицинское образование, но так как медицинский факультет в Гиссене не пользовался хорошей репутацией, то отец Бёрне решил отправить сына в Берлин. Правда, в Берлине тогда еще университета не было (он был основан в 1810 году), но зато его клиники считались лучшими, а при этих клиниках читали лекции многие знаменитые доктора, образуя таким образом нечто вроде вольного университета. В числе этих профессоров особенной славой пользовался еврей Маркус Герц, и ему-то старик Барух, не желавший оставлять молодого человека без руководителя в чужом городе, решился доверить научное образование и воспитание своего сына.

Глава II

Жизнь в Берлине и в доме Герцов. – Маркус и Генриетта Герц. – Влияние новой обстановки на Бёрне. – Первая любовь. – Дневник Бёрне. – Смерть Герца и конец романа. – Перемещение в Галле. – Профессор Рейль. – Университетская жизнь в Галле. – Перемена факультета и жизнь в Гейдельберге. – Столкновения с отцом. – Возвращение в Гиссен и получение докторского диплома.

Берлин того времени отличался весьма оживленной физиономией. В некотором роде он был тогда для Германии тем же, чем Париж служит для Франции, – центром умственной жизни, куда стекались все лучшие силы Германии. Наполеон еще не успел наложить на Пруссию свою железную руку, и гений непобедимого «великого Фрица», казалось, все еще носился над его столицей. Умственная жизнь так и била ключом; происходил непрерывный обмен идей, борьба различных научных и литературных течений. Идеализм Фихте, натурфилософия Шеллинга и теософия Шлейермахера сталкивались здесь с трезвым направлением кантовской философии. Искусства и литература также имели блестящих представителей.

В этом умственном движении Берлина играли большую роль и евреи. Со времени Мендельсона исчезла непроходимая пропасть, лежавшая между еврейской и христианской частями общества. Евреи быстро усваивали немецкую культуру и утрачивали прежнюю замкнутость и обособленность. Вместе с тем и в общественном их положении наступила благоприятная перемена, хотя в гражданском отношении они оставались по-прежнему почти бесправными. Просвещенные христиане, по примеру Лессинга, горячего друга Мендельсона, стали сближаться с образованными евреями и охотно посещали их дома. Этим-то передовым евреям и особенно блестящим, образованным еврейкам, значительно опередившим своих христианских подруг, все еще погруженных в одни хозяйственные интересы, Берлин в значительной степени был обязан тем приподнятым блестящим тоном, который так выгодно выделял его среди остальных центров Германии. Евреи первые основали здесь *салон* – наподобие знаменитых салонов XVIII века, где в приятной, легкой форме обсуждались, разъяснялись и делались доступными для людей разных званий элементы высшего мышления, вкуса, поэзии и критики. Таковы были салоны дочерей Мендельсона, из которых одна, Доротея, вышла замуж за известного писателя Фридриха фон Шлегеля; гениальной Рахели

Левин, по мужу Варнхаген фон Энзе, где царил культ Гёте, и некоторые другие. Но в данное время самым блестящим центром, неотразимо привлекавшим к себе весь интеллигентный Берлин, был дом доктора Герца.

Маркус Герц родился в Берлине в 1747 году. Сын бедных родителей, он не имел возможности посвятить себя науке и уже пятнадцати лет должен был отправиться в Кенигсберг, чтобы поступить учеником в торговлю. Жажда знания оказалась, однако, слишком сильной: терпя всевозможные лишения, он стал слушать при университете лекции по медицине и затем выдержал в Галле докторский экзамен. Но еще больше медицины привлекала его философия, которая читалась тогда в Кенигсберге Кантом. Знаменитый философ скоро обратил внимание на даровитого юношу, и когда, назначенный профессором, он должен был по обычаю публично защищать свою философскую диссертацию, выбрал Герца своим помощником. Поселившись в Берлине, искусный врач-практик и глубокий мыслитель (два призвания, редко сочетающиеся в одном человеке) весьма скоро сделался одной из самых популярных личностей столицы. Как философ Герц не создал ничего самостоятельного, но он вполне усвоил философию Канта и усердно пропагандировал ее в Берлине. Обладая необыкновенным даром ясного и популярного изложения, он стал читать публичные лекции по философии, посещавшиеся даже многими знаменитыми людьми: среди них был и государственный министр фон Зедлиц. Не меньше успеха имели его лекции по физике, на которых он с помощью аппаратов знакомил публику с изумительными законами природы, и даже специально медицинские лекции, привлекавшие массу любознательных слушателей. Сам наследник престола (впоследствии король Фридрих Вильгельм III) и другие принцы не считали ниже своего достоинства приходить в дом еврея, чтобы пользоваться его поучительными беседами. Мало-помалу дом известного врача сделался сборным пунктом самого избранного берлинского общества. Но главным магнитом, привлекавшим выдающихся людей еще в большей степени, чем знания и остроумие самого Герца, была хозяйка этого салона, прекрасная г-жа Герц.

Генриетта Герц, дочь португальского врача-еврея де Лемоса, женатого на немке, представляла самое очаровательное гармоническое сочетание особенностей южного пыла с немецкой гибкостью. Благодаря своей южной крови она развилась очень рано и уже в 15 лет слыла одной из прекраснейших девушек Берлина. Высокая, стройная, с безукоризненным классическим профилем, с блестящими темными глазами и роскошными

черными волосами, она казалась настоящей античной богиней, сошедшей с пьедестала. С этой редкой красотой соединялись еще живой, проницательный ум, подкупающая любезность обращения и блестящее разностороннее образование. Пятнадцати лет она вышла замуж за Герца, которому было тогда 32 года, и под его руководством сделалась одной из образованнейших женщин того времени. Она прекрасно владела почти всеми европейскими языками, не только новейшими, но и древними, – даже турецкий и малайский языки не были ей чужды, – была очень начитанна, как в художественной, так и в научной литературе, и эта редкая среди женщин ученость, лишенная всякого педантизма, придавала ей особенную неотразимую привлекательность. «Прекрасна, как ангел, и полна ума и доброты» – так описывала ее в своих мемуарах известная m-me Жанлис. Эта-то замечательная женщина и сделала дом Маркуса Герца центром, в котором собирался цвет берлинской знати и интеллигенции. Писатели, художники, дипломаты, всякие знаменитости – местные и приезжие – добивались чести попасть в салон Герцов. Здесь можно было видеть таких представителей науки, как знаменитый Александр Гумбольдт; государственных людей, как Генц, Александр фон Дона, Мирабо, имевшего тогда тайную дипломатическую миссию в Берлине; писателей вроде Морица, Жан-Поля, Иоганна фон Мюллера и других. Братья Шлегели, Генц и Шлейермахер были самыми близкими друзьями дома. Дамы высшего сословия также сделались посетительницами салона. Знакомства с Генриеттой Герц одно время добивались наравне с представлением ко двору.

Попасть в такой дом для Бёрне было, конечно, большим счастьем. Вряд ли во всей Германии нашлось бы другое место, где молодому талантливому человеку представлялось бы столько шансов ознакомиться с большим светом, выработать в себе широкий, многосторонний взгляд на вещи. Можно было ожидать, что Бёрне, так тяготившийся своей прежней обстановкой с ее узкими будничными интересами, с восторгом устремится в этот кипучий умственный поток и постарается извлечь из него как можно больше пользы для своего развития. На деле, однако, ничего этого не было заметно. Присутствие стольких замечательных людей скорее действовало на него угнетающим образом. Он сторонился шумного блестящего общества, наполнявшего гостиную Герцов, и охотнее оставался в своей комнате, чтобы помечтать на свободе. учился он также не особенно прилежно и вообще держал себя так, что никому из посетителей дома не приходило в голову, что робкий, молчаливый юноша, появляющийся за столом Герца и спешащий

при первой возможности улизнуть к себе, будет играть впоследствии такую громадную роль в истории немецкой литературы. Сама Генриетта Герц в своих записках следующим образом рисует нам тогдашнее поведение своего воспитанника: «Бёрне, тогда еще Луи Барух, или, как его называли в нашем доме, просто Луи, мало работал по своей специальности, к которой, по-видимому, не чувствовал никакого влечения, да и вообще занимался очень мало. Казалось, он вовсе не заботился о том, чтобы получить научное образование. Даже представлявшейся ему в нашем доме возможностью образовать себя через общение с выдающимися людьми он не пользовался как следует. Скорее, он даже избегал этих людей. Их ласковая предупредительность, даже сама их близость, казалось, действовала на него временами угнетающим образом… Впрочем, он и не старался казаться прилежным. Он даже намекал на то, что не только не может, но и не хочет преодолеть свою лень, но что тем не менее не считает это время проведенным без пользы. Почему? Об этом он умалчивал. Я и сама не могу отдать себе отчета, почему при всем том он не казался мне тем маленьким самодовольным лентяем, каким его считали некоторые из моих очень проницательных друзей. Правда, я имела гораздо более случаев, чем они, уловить то или другое меткое, остроумное замечание, вырывавшееся у него подобно молнии; часто, именно тогда, когда он казался наиболее безучастным, я замечала, как он внимательно наблюдает окружающих. К тому же у него было слишком умное выражение лица, чтобы он мог действительно быть ограниченным. Одним словом – этому способствовала и некоторая загадочность во всем его обращении, – он казался мне интересным. Но когда я говорила моим друзьям, что он интересный молодой человек, они смотрели на меня с удивлением».

Умная m-me Герц, с чисто женским чутьем угадавшая в скромном, на вид незначительном юноше будущего выдающегося человека, не замечала, однако, настоящей причины его загадочного безучастного отношения ко всему окружающему. Только случай открыл ей глаза на ту страшную бурю, которая бушевала в душе ее воспитанника. Дело в том, что Луи любил, – любил со всем пылом первой юношеской страсти, и предметом его любви была сама прекрасная хозяйка дома.

Генриетте Герц в то время было уже 38 лет, но она казалась лет на 10 моложе и была все еще ослепительно хороша. Нет ничего удивительного в том, что эта необыкновенная женщина, которая пленила стольких замечательных людей, сразу очаровала и неопытного юношу, сердце которого до сих пор оставалось

совершенно нетронутым. Правда, некоторое время он и сам не сознавал своей любви, ему даже казалось, что ему нравится гораздо более сестра m-me Герц, Бренна, которая была гораздо моложе и не менее хороша. Но скоро он почувствовал, что ему нравится в Бренне лишь то, что она похожа на сестру. Живя в доме Генриетты, видя ее так часто и так близко, особенно во время уроков по языкам, которые она ему давала, он не мог не полюбить ее со всем пылом своего нетронутого сердца. Но увы! Его любовь была безнадежна, он прекрасно это сознавал и не смел даже обнаружить ей своих чувств, только в бессонные ночи поверял дневнику горячие излияния своего сердца. Этот дневник и некоторые позднейшие письма Бёрне к m-me Герц, опубликованные в 1861 году под заглавием «Письма молодого Бёрне к Генриетте Герц», по своей искренности и свежести чувства производят сильное впечатление. Постепенно, шаг за шагом, развертывается пред нами на страницах дневника глубокая сердечная драма. Мы видим, как очарование, вызванное дивной красотой и духовными совершенствами любимой женщины, растет со дня на день, как быстро заполоняет юношу это чувство, делая его индифферентным ко всему, что не относится прямо к ней, возбуждая в нем то восторженное желание делать все возможное, чтобы только заслужить одно слово одобрения с милых уст, то мрачное отчаяние при мысли о пропасти, лежащей между ним и предметом его любви. «Я не весел, я не печален… Мое сердце бьется медленными сильными ударами!..» – пишет он 9 ноября 1802 года, утром того дня, когда он был принят в дом Герца, и уже вечером того же дня он с восторгом описывает впечатление, произведенное на него хозяйкой дома: «Что за глаза! Что за чудная улыбка! Какая грация порхает на ее устах! У меня нет слов!.. Тот, кто изобрел язык, ничего не смыслил в красоте; первая красивая женщина посрамила бы его изобретательность… У меня нет слов…» – «О, если бы мне удалось заслужить одобрение этой любезной женщины! Я буду делать все, чтобы понравиться ей, – все, что хорошо и прекрасно», – пишет он далее. Он вначале не признается даже самому себе, какого рода это чувство. «Когда m-me Герц приходит ко мне, мне всегда хочется благоговейно поцеловать край ее одежды», – пишет он 21 числа того же месяца. «Самое прекрасное для меня время – это когда я беру у нее урок; но я немногому научусь. Да и кто бы мог быть внимательным, если бы сидел так близко от нее, если бы мог так часто заглядывать в ее черные глаза…» Эти восторженные страницы чередуются с выражениями самой трогательной наивной нежности. «Я хотел бы, чтобы m-me Герц была моей матерью или

чтобы я мог любить мою мать, как ее. Я теперь замечаю, что люблю m-me Герц более, чем всех других людей. Если бы она только знала это! Я уже сказал это ее мужу, при первом удобном случае я скажу это и ей самой!» Но не прошло и месяца, как за этими наивными излияниями полились страницы, продиктованные самой жгучей страстью. «Я чувствую, что горю и все мое существо изменилось…» – пишет он с каким-то ужасом. Ничтожный случай открывает ему глаза – он убеждается в том, что любит… С тех пор для Бёрне начинается безумно мучительная и вместе с тем безумно счастливая пора. Одно какое-нибудь слово, один взгляд Генриетты повергает его то в безысходное отчаяние, то в бесконечное блаженство. Он совершенно поглощен своим чувством, все окружающее утрачивает для него интерес. Он избегает гостиной Герца, где присутствие стольких знаменитостей напоминает ему о его собственном ничтожестве, и предпочитает сидеть в своей комнате, где по целым часам предается мечтам о «ней», припоминает каждое ее слово, каждый жест, пишет ей страстные письма, которых никогда не передаст ей, и с замиранием сердца прислушивается, не зайдет ли она к нему в комнату и своим ласковым материнским тоном спросит его – не нужно ли ему чего-нибудь, не болен ли он. Дальше его мечты не идут, ему кажется, что для его счастья совершенно достаточно только быть около нее, видеть ее, любоваться ею…

Но вот на влюбленного неожиданно обрушивается удар: 18 января умирает доктор Герц, и Бёрне, внезапно пробужденный из своих мечтаний, с ужасом говорит себе, что он должен будет оставить его дом. На время, однако, все устраивается благополучно. Ничего не подозревающая Генриетта уступает его горячей просьбе и соглашается оставить его у себя с тем, чтобы он продолжал заниматься под руководством избранных ею учителей. Для Бёрне начинается новая пытка. С одной стороны, Генриетта теперь вдова, она свободна, и в его сердце против воли начинает прокрадываться робкая надежда, с другой – ее искренняя печаль по умершему налагает на него молчание. Будучи не в силах выдержать более этой душевной пытки, Бёрне решается положить ей конец самоубийством. К счастью, записка, посланная им через горничную к одному знакомому аптекарю, с просьбою доставить ему мышьяку для истребления мышей, попалась в руки самой m-me Герц. В страшном испуге она послала к нему свою сестру и через нее узнала все. Умной Генриетте удалось в конце концов образумить влюбленного юношу. После нескольких объяснений Бёрне, вторично пытавшийся достать яду, решил навсегда отказаться от всякой мечты о счастье и оставить Берлин. Уезжая,

он вручил m-me Герц свой дневник, получив от нее взамен обещание переписываться с ним. Эта-то переписка с «милой матерью», как он с тех пор называет Генриетту, представляет самый драгоценный материал для изучения умственного и душевного развития Бёрне в период его студенчества.

Как ни мало, на первый взгляд, воспользовался Бёрне своим пребыванием в Берлине вообще и в доме Герцов в частности, тем не менее он был прав, говоря, что это время не пропало для него даром. Стоит только прочитать эти искренние непосредственные излияния 18-летнего юноши – его дневник или письма, – чтобы увидеть, какой громадный шаг вперед он сделал в своем развитии. Даже в стилистическом отношении в этих ранних произведениях его пера уже виден будущий писатель: остроумие, юмор, мягкость, резкая своеобразность – все эти характерные особенности бёрневского стиля сказываются уже и тут. Да и сама эта безнадежная любовь, несмотря на все причиненные ею страдания, оказала на него благотворное влияние уже одним тем, что предохранила его от других, менее невинных увлечений. Бёрне обладал слишком трезвой натурой, чтобы долго оставаться под обессиливающим влиянием своего неразделенного чувства. Даже в самый разгар своей страсти он говорит с насмешкой о господствующей в обществе и литературе болезненной сентиментальности, а цинизм модного в то время романа «Люцинда», которым восхищался даже Шлейермахер, внушает ему такое отвращение, что, несмотря на всю заманчивость запретного плода, он не мог дочитать его до конца. «Истинное, настоящее чувство, – говорит он в своем дневнике, – похоже на чистое, крепкое вино, которое, при умеренном употреблении, укрепляет и согревает здорового человека, тогда как господствующая сентиментальность наших нервных юношей и чахоточных девиц горячит и расслабляет, подобно приторным модным ликерам». Любовь Бёрне к Генриетте Герц была именно таким укрепляющим и согревающим чувством. Привязанность к «дорогой матери», очищенная и лишенная всякого страстного элемента, согревала его одинокое сердце во все время его студенчества, вызывала в нем желание работать над собой, чтобы стать достойным ее уважения. Под лучами этой любви прежний холод в его душе, прежнее преобладание рассудка было сломлено, и с тех пор его раскрывшимся сердцем, только на время всецело заполоненным образом женщины, овладевают все окружающие, все человечество. Генриетта была его первой и, в известном смысле, его последней любовью. Его вторая любовь, которой он отдался со всем пылом, со всей страстью, к какой только способно было его сердце, – это свобода, счастье всего

человечества. «Истинную сущность добродетели можно выразить несколькими словами. Что такое добродетель? Добродетель есть блаженство. А блаженство – свобода. Затем, нет надобности уже спрашивать, что такое свобода, потому что она вечное, абсолютное, *единое,* одно нераздельное с разумом, с Богом, с безусловным, само себя объясняющее». Так думал и писал в своем дневнике 18-летний Бёрне, и эта мысль сделалась руководящим началом во всей его позднейшей деятельности. «Свобода и Вы! – писал он впоследствии женщине, которая была ему, несомненно, ближе всех на свете. – Сердце человеческое так тесно. Отчего нужно непременно выбрать одно из двух?» И он выбрал свободу.

Из Берлина Бёрне, по совету m-me Герц и с согласия отца, отправился в Галле, снабженный рекомендательными письмами к известному врачу профессору Рейлю, который по просьбе Генриетты согласился принять юношу в свой дом и руководить его занятиями. Выбор места был как нельзя более удачен. Бёрне имел твердое намерение приняться наконец серьезно за медицинские занятия, а в мирном университетском городе, славившемся именно своим медицинским факультетом, ничто не могло помешать этому похвальному намерению.

Несмотря на ласковый прием в доме Рейля, воспоминания о Берлине были еще слишком свежи, чтобы Бёрне мог сразу почувствовать себя уютно в новой обстановке. После блестящей, оживленной жизни в столице Галле со своими простыми мещанскими нравами показался ему нестерпимо скучным. Не понравился ему сначала и сам Рейль. Суровая наружность профессора, его резкий голос вначале даже испугали его. Рейль с первых же слов заметил ему: «Вы знаете, я страшно занят, и потому мелочами я не могу с вами заниматься: все, что я могу для вас сделать, состоит в том, что время от времени я дам вам хороший совет и скажу, как вы лучше всего можете его исполнить», и Бёрне, передающий этот разговор «своей дорогой матери», с иронией прибавляет, намекая на крупный гонорар, который был обещан профессору стариком Барухом: «Какой драгоценный советник!» Еще несимпатичнее показалась ему г-жа профессорша, маленькая, невзрачная женщина, очень добрая, но малообразованная. Бёрне, перед глазами которого постоянно стоял лучезарный образ m-me Герц, положительно не мог примириться с ее ограниченностью, с ее манерами и тоном провинциальной кумушки и в своих письмах отделывал ее частенько довольно-таки ядовито.

Первые неблагоприятные впечатления, однако, вскоре сгладились. По мере того как стихала его страстная тоска об утерянном рае в Берлине, Бёрне начинал находить хорошие

стороны и в своей новой обстановке. M-me Рейль была слишком добра к нему, чтобы он мог серьезно вменять ей в вину то, что она не похожа на m-me Герц. Что же касается самого Рейля, то Бёрне вскоре преисполнился к нему самого восторженного удивления. Он называет его «образцом всех совершенств» и не только уважает, но и любит, как родного отца.

Рейль нашел познания своего воспитанника недостаточными для поступления в университет и потребовал, чтобы Бёрне еще некоторое время посещал гимназию, чему последний подчинился, хотя и весьма неохотно. Впрочем, это смирение потребовалось от него ненадолго. Уже весною 1804 года Бёрне был внесен в список университета, и с тех пор для него началась настоящая студенческая жизнь, которой он отдался с увлечением заправского бурша. Еще много лет спустя (в 1823 году) в своей статье «Апостаты знания и неофиты веры» он с удовольствием вспоминает о бурных студенческих годах, проведенных в Галле, останавливаясь с некоторым умилением даже на красных, зеленых, белых и черных перьях, украшавших шлемы студентов, и на их больших сапогах, называвшихся «пушками», благодаря которым студенты «верхней частью походили на римских воинов, а нижней – на немецких почтальонов». Но, конечно, студенческая жизнь нравилась ему не одними своими шумными сборищами и пирушками, где, по выражению Бёрне, не было места грациям. В той же статье он дает нам рельефную картину тогдашней жизни в Галле, вполне оправдывающую то увлечение, с каким он отдался ей:

«Я с восторгом вспоминаю студенческие годы, проведенные в Галле. Молодость хороша для всех, где бы и как бы она ни проходила; но для студентов она – вдвое прекраснее. На одной и той же тропе они находят труд и веселье, и они освобождены от тяжелого выбора между удовольствием и работою в то время, как во всяком другом положении юноша слишком рано поставлен перед выбором Геркулеса. В Галле шла здоровая, полная движения, благотворная научная жизнь. Гёттинген был тогда тем, чем он был всегда, чем остается и до сих пор: приютом почтенного традиционного знания, аристократическим поместьем, богатым прекрасно устроенными, обеспеченными, неотчуждаемыми землями. В Галле же господствовал больше мещанский, промышленный труд, денежные обороты ума; знание и обучение быстро и весело переходили из уст в уста, из рук в руки. Мудрая и благодетельная заботливость прусского правительства образовала собрание профессоров, которое, не отвергая старых приобретений науки, сочувствовало всему новому. *Вольф,* громкая слава которого не превосходила его

заслуг, знакомил нас близко с Анакреоном и надменными женихами Пенелопы. *Шлейермахер* читал теологию так, как преподавал бы ее Сократ, если бы он был христианином. В своих лекциях этики он рассматривал нравственную, научную и гражданскую жизнь людей. В его аудитории собиралась не только университетская молодежь, но и люди зрелых лет, всех сословий. В то же самое время он был университетским проповедником, и его слушатели становились тем набожнее, чем более вдумывались в его речи, потому что Шлейермахер плыл по морю веры, вооруженный компасом знания и держась рассчитанного, верного, несомненно точного направления. *Рейль* был одинаково замечателен как человек, как профессор медицины и как практик. Его фигура была благородна и внушала уважение, глаза его походили на глаза Фридриха Великого. В то время, когда он был окружен своими учениками, которые столько же любили его, сколько удивлялись ему, можно было легко вообразить себя в академии Афин. Он умел внушать своим больным и их родным непоколебимое доверие к себе, и неисцелимые теряли жизнь, но никогда не лишались надежды. Свои лекции по терапии и по глазным болезням он начинал и перемешивал стихами Шиллера и Гёте, и драгоценные плоды его исследований были скрыты под цветами. Тому, кто посещал только первые лекции семестров, могло показаться, что он слушает профессора нравственной философии или эстетики. Достигнув уже зрелых лет, когда знание может распространяться только в ширину, а не идет более в глубину и когда созревшие колосья духа опускают к земле свои тяжелые головы, сознавая необходимость этого закона природы, Рейль, в тесном кружке своих друзей и учеников, выражал наивное и трогательное опасение, что он может утратить молодость духа. Чтобы предохранить себя от этой опасности, он постоянно старался окружать себя порывистой молодежью и новыми книгами. *Геркель* усвоил ученье Кювье и внушал любовь к сравнительной анатомии и физиологии… Наконец, *Стеффенс* доводил до энтузиазма университетскую молодежь. Ученик Вернера, он был приглашен в Галле в качестве профессора минералогии; как ученик Шеллинга, он перенес туда и натурфилософию… Его речь была быстронесущимся потоком; слушатель увлекался за ним, без паруса, без руля и кормила, и только очутившись на берегу, начинал обсуждать слышанное…»

Живая наука, живое изложение, не пропитанные архивной пылью, не отдающие затхлостью и скукой наглухо закупоренного кабинета, но идущие рука об руку с жизнью, чутко прислушивающиеся к запросам этой жизни, – вот что восхищало Бёрне в тогдашнем состоянии университета Галле. Слушая таких

профессоров, он чувствовал, что кровь быстрее и пламеннее течет по его жилам. В сущности, Бёрне был очень мало похож на того, кого принято называть образцовым студентом. Как видно из приведенного отрывка, медицина, его специальность, далеко не поглощала его. Он гораздо чаще посещал лекции по другим, более интересовавшим его предметам и, вместо того чтобы корпеть дома над зазубриванием учебников, предпочитал поучаться иным путем – внимательным присматриванием к окружающему, вдумчивым отношением к потрясавшим Европу событиям. Здесь, в Галле, у него впервые начинают слагаться те политические убеждения, которые он проводил в течение всей своей жизни. Уже и тогда слава и гений Наполеона не ослепляли его, как многих других; Бёрне видел в нем не освободителя, а властолюбивого деспота, – но в то же время он никогда не переносил свою ненависть к последнему на саму Францию и на все те великие идеи, какие шли оттуда.

Так прошли три года, «целый ряд майских месяцев!» Наконец лязг оружия нарушил и идиллическую тишину университетского города. Произошло сражение при Йене, явился Наполеон и разогнал весь университет. «Наполеон, – говорит Бёрне, – не боялся войск Европы, но он боялся ее духа – он знал его. Его страх был достоин героя».

Впрочем, Бёрне не присутствовал при последних днях своей любимой alma mater. Уже весною 1807 года мы застаем его в Гейдельберге. К такому перемещению побудило его, главным образом, желание бросить медицину. Бёрне никогда не чувствовал особенного влечения к выбранной для него отцом специальности. Пока он оставался на почве общих оснований науки, дело шло еще как-нибудь. Лекции Рейля, как мы видели, даже увлекали его. Но по мере того как приходилось переходить к практическим занятиям, он чувствовал все сильнее, что попал не на свою настоящую дорогу. Его слабые нервы положительно не выносили вида крови и страданий. К тому же шаткость большей части положений медицины беспокоила его правдивую натуру – он считал себя не вправе делать опыты над страждущим человечеством. Все эти соображения побудили его оставить медицинский факультет и перейти, к великому неудовольствию отца, к юридическим наукам, которые он в свою очередь вскоре променял на занятия науками камеральными, политическими. Впрочем, старик Барух в конце концов примирился с этой переменой, так как, ввиду улучшившегося при французском господстве положения евреев, его сыну представлялась возможность сделать себе карьеру на каком-нибудь общественном поприще. Гораздо более возмущало его непростительное, по его

мнению, легкомыслие сына, который, вместо того чтобы «филистерски» сидеть дома за книгами, убивал драгоценное время в прогулках по чудным окрестностям Гейдельберга, то бродя целыми днями по великолепным окрестным лесам, то мечтательно катаясь в лодке на тихих водах Неккара. Отец смотрел на этот образ жизни как на отъявленное лентяйство, забывая, что и само здоровье сына, не говоря уже о его молодости, не позволяло ему сидеть безвыходно в четырех стенах. Другой причиной неудовольствия отца была расточительность Бёрне. Луи совершенно не умел обращаться с деньгами и, получая из дому хорошие средства, ухитрялся всегда находиться в денежных затруднениях. Уезжая из Галле, он оставил там долгов на сумму в 175 талеров, набравшуюся по счетам книгопродавца, переплетчика, портного и кондитера. Старик Барух, при своей чисто коммерческой аккуратности, был возмущен этими долгами. Он поднял целую бурю, отказался платить по счетам и целых два года вел дорого стоивший и в конце концов проигранный процесс с кредиторами сына – конечно, не потому, что жалел эту ничтожную сумму, а чтобы не давать последнему поблажки. Не желая оставить сына без опеки, он даже в Гейдельберге попросил одного профессора строго следить за его поведением, что, конечно, очень раздражало молодого человека, жаждавшего независимости. В одном из своих писем к m-me Герц, с которой он все еще продолжал переписываться, Бёрне с некоторой горечью говорит о постоянных своих столкновениях с отцом.

«Мой отец, – пишет он в 1807 году из Гейдельберга, – наезжающий сюда иногда то с намерением, то случайно, каждый раз производит инспекторский смотр своему сыну. Но, так как тактика нового времени, а следовательно, и моя, значительно отличается от старой тактики моего батюшки, то очень естественно, что он всегда остается недоволен мной. Не думайте, однако, что проповеди его имеют предметом исключительно мою расточительность; будь так, я не стал бы роптать и сердиться; нет, он вмешивается в мои научные *занятия,* чем сильно досаждает мне. Я еще не протестовал бы, если бы это вмешательство ограничивалось побуждением меня к прилежанию; но ведь он налегает и на предметы моих занятий и не перестает осаждать наставлениями. Когда я приезжал на каникулы домой, он посылал меня чуть не ко всем франкфуртским докторам, чтобы я порасспросил у них, чему, собственно, мне следует учиться в Гейдельберге. А чуть я принимался доказывать ему, что знаю это сам не хуже всех его докторов, начинались ссоры и брань. Кроме того, он часто экзаменует меня, – не из любознательности, а

только для того, чтобы посмотреть, смыслю ли я что-нибудь в своем деле. То он спросит, как следует лечить водяную, то – что такое гальванизм? Натурально, я отвечаю, что взбредет на ум. Но тем не менее все это очень сердит меня».

Уступая настойчивому желанию отца, Бёрне вскоре переместился из Гейдельберга в Гиссенский университет, который был ближе к Франкфурту и давал старику возможность лучше наблюдать за сыном. Здесь, в том самом городе, где началось его образование, Бёрне и закончил его. На этот раз отец должен был остаться довольным прилежанием своего лентяя Луи. Бёрне усердно принялся за работу, и не прошло и года, как получил (8 августа 1808 года) степень доктора философии, причем сразу представил две диссертации, которые факультет признал «заключающими в себе много разнообразных и драгоценных сведений». Одна из них имела название «О геометрическом распределении государственной территории» и уже в следующем году была напечатана в научном журнале «Германия» с весьма лестным отзывом декана университета, профессора Крома, бывшего воспитателя Бёрне; название другой диссертации осталось неизвестным. Впрочем, названная диссертация не была первым печатным произведением Бёрне. Еще в 1808 году появилась его журнальная статья «Наука и жизнь», а в следующем году было напечатано третье его исследование, экономического характера, – «О деньгах».

Замечательно, что в этих первых произведениях Бёрне мы уже наталкиваемся на ту идею, которая отчасти лежала в основании его позднейшей политической деятельности. Уже и тогда он говорит о естественном закруглении государств, требующем, чтобы Германия и Франция были слиты воедино, как это было до Верденского договора, разъединившего их тысячу лет тому назад, и мечтает о том счастливом государстве, какое образовалось бы в том случае, если бы немецкая натура сочеталась с французской и обе взаимно нейтрализовали друг друга. Его определение государства также соответствует тем взглядам на этот предмет, какие он защищал впоследствии. Даже сам слог, меткий, изобилующий остроумными афоризмами, во многом уже напоминает будущего блестящего политического писателя.

Глава III

Перемена в положении франкфуртских евреев. – Бёрне – секретарь при полицейском управлении. – Участие в масонских ложах. – Первые литературные опыты. – Статья «Чего мы хотим?» – Финал тевтонофильского увлечения. – Реакция в Германии и по отношению к евреям. – Отставка Бёрне. – Состояние современной литературы. – Бёрне посвящает себя публицистике. – Переход в лютеранство.

В 1809 году молодой доктор философии вернулся в свой родной город. За время его отсутствия многое успело перемениться во Франкфурте, но радикальнее всего была перемена в положении евреев. Позорного еврейского квартала уже не существовало. Французский генерал Журдан освободил евреев от их гетто, разрушив бомбардировкой эту часть города, и гордые франкфуртские патриции скрепя сердце должны были предоставить им квартиры в других местах города. Когда же священная немецко-римская империя разлетелась в прах от одного дуновения Наполеона и Франкфурт подпал под власть князя-примаса Рейнского союза, прежнее рабское положение евреев прекратилось окончательно. Карл фон Дальберг, назначенный Наполеоном великим герцогом Франкфурта, человек гуманный и свободомыслящий, сначала освободил их фактически, а в 1811 году, за выкупную сумму в 440 тысяч гульденов, законом предоставил им такую же свободу и равенство в правах с остальными гражданами, какими уже пользовались их единоверцы во Франции и соседнем Вестфальском королевстве. При таких обстоятельствах Бёрне представлялась возможность искать применения своим талантам на общественном поприще, и старик Барух, в глубине души высоко ценивший способности сына, немедленно стал хлопотать о том, чтобы он посвятил себя какой-нибудь практической деятельности.

Прошло, однако, более двух лет, прежде чем исполнилось желание отца. Необходимо заметить, что, несмотря на громкий титул доктора философии, впечатление, произведенное молодым ученым на франкфуртцев, было не особенно выгодное. Как известно, никто не бывает пророком в своем отечестве, и уже одно то обстоятельство, что Бёрне так часто менял университеты, бросаясь от одной специальности к другой, доставило ему среди знакомых репутацию человека непостоянного, ненадежного. Это недоверчивое отношение еще усиливалось благодаря его замкнутости, так как все это время Бёрне провел совершенно уединенно, занимаясь только разными научными работами и

очень мало сходясь с окружающими. Честолюбивые планы отца не находили в его душе никакого отклика, и только желание избавиться от тяготившей его материальной зависимости заставило его наконец выйти из своего пассивного состояния и принять место, которое удалось выхлопотать его отцу и которое, как мечтал последний, должно было сделаться для Бёрне первой ступенью по пути к его будущему служебному величию. По иронии судьбы, ступенью этой являлось место секретаря (актуария) при франкфуртском полицейском управлении!

«Трудно представить себе, – говорит биограф Бёрне, Гуцков, – автора „Парижских писем“ в темных комнатах франкфуртского полицейского управления, занятого визированием паспортов, просмотром книжек рабочих, приемом протоколов и при торжественных случаях являющимся представителем полиции в парадной форме и при шпаге». Бёрне – полицейский чиновник! Насмешница-судьба выкинула над ним такую же злую шутку, какую она повторила несколько лет спустя в том же городе, заставив Гейне, «поэта мировой скорби», стоять за прилавком в бакалейном магазине. Было бы, однако, совершенно ошибочно предположить, что Бёрне очень тяготился своей службой. В то время будущий политический писатель имел только теоретические понятия о сущности государственного управления и, подобно всем своим современникам, ограничивался в своих политических мнениях обсуждением деятельности Наполеона – за и против. Его служебные занятия вовсе не противоречили его убеждениям, так как в его руках находилась только письменная часть, и то по делам, не касавшимся так называемой высшей полиции. Приняв это место, хотя и не по собственному побуждению, он старался принести на нем возможную пользу, – и действительно, благодаря своей аккуратности, неподкупности и ласковому, терпеливому обращению с просителями он скоро снискал себе всеобщее уважение. Начальство также оценило способности нового чиновника и стало поручать ему самые трудные работы. В некоторых случаях Бёрне выказал даже особенное присутствие духа. Так, когда в 1813 году баварские солдаты, вступая в город, начали было грабить дома, Бёрне с обнаженной шпагой бросился на грабителей и содействовал их укрощению. Шпагу эту он долго сохранял у себя, и когда однажды один приятель удивился присутствию в его комнате такой воинственной принадлежности, Бёрне с улыбкой заметил ему: «Не бойтесь, на ней не было крови». Вообще, несмотря на свое слабое здоровье, Бёрне от природы был очень храбр. Впоследствии по поводу того же эпизода из своей полицейской деятельности он с обычным своим юмором рассказывал, что, стоя

на мосту, где над его головой то и дело летали баварские пули, он более боялся сквозного ветра, чем самих пуль.

Мало-помалу молодой человек стал обращать на себя внимание и другого рода деятельностью. Тогда была эпоха процветания масонских лож: франкфуртские евреи также имели свою ложу, носившую название «Загорающаяся утренняя заря», и Бёрне, бывший одним из членов ее, сделался очень популярным благодаря своим речам, дышавшим глубокой любовью к человечеству. Впоследствии, однако, Бёрне охладел к масонству, так как оно стало преследовать слишком узкие цели.

К этому же времени относится и начало его публицистической деятельности. Во «Франкфуртском журнале» стали появляться статьи, которые благодаря необыкновенной силе и образности языка производили громадное впечатление на читателей. Все они носят печать всеобщего тогдашнего возбуждения, дышат самой пламенной любовью к Германии, самой пылкой ненавистью к ее поработителю – Наполеону. Особенно замечательной в этом отношении является статья «Чего мы хотим?», напечатанная в 1814 году. Автор стоит на почве самого чистого специфически германского патриотизма. Он обращается к «созревающим» юношам, к гражданам и женщинам, страстно призывая их к защите своей национальности. «Чего мы хотим? – пишет он. – Мы хотим быть свободными немцами и, чтобы иметь возможность остаться ими, не желаем также господствовать над рабскими, лишенными всякой воли народами. Мы хотим быть похожими на наш воздух, далекими от расслабляющей духоты и замораживающего холода – для того, чтобы мужество соединялось в нас с любовью, а сила – с красотой. Мы хотим быть немцами серьезными, спокойными, не пресмыкающимися по земле в тупой апатии и не пытающимися взлететь к солнцу на восковых крыльях. Мы хотим, чтобы все у нас были сильны: повелители – в своей власти, граждане – в своем повиновении…»

Увы! автор этих статей, написанных в тевтонофильствующем духе, и не подозревал, что первым делом освободившихся немцев будет именно восстановление рабства другого, зависящего народа, что повелители, пользуясь своей властью, не замедлят обратить свободу, добытую ценою стольких жертв, в пустой звук, а граждане в своем повиновении дойдут до последних степеней холопства и унижения.

Неудачный поход в Россию подорвал престиж непобедимости, окружавший великого императора. Долго сдерживаемая ненависть к завоевателям наконец прорвалась наружу, и Германия, охваченная патриотическим одушевлением, как один

человек восстала против Наполеона. Не отставали от немцев и евреи. Еврейские юноши, увлеченные таким же патриотизмом, вступали в ряды волонтеров и геройски сражались за свободу отечества. Еврейские врачи погибали в лагерях и лазаретах при уходе за больными и ранеными, а еврейские женщины и девушки вступали в общины сестер милосердия. Те, кто неспособен был носить оружие, выражал свою любовь к Германии другими великими жертвами. И что же? Когда цель была достигнута и увенчанные лаврами победители вернулись домой, то первым делом патриотов во многих немецких землях было восстановление всех тех уродливых порядков, которые были уничтожены французами, и прежде всего – старых постыдных законов о евреях. Франкфурт первый дал пример немецкой верности обещаниям. Не успело еще замолкнуть в этом городе эхо от пушечных выстрелов бежавшего неприятеля, как уже стали раздаваться голоса: прежде всего надо положить предел неслыханным притязаниям евреев. Мало-помалу все законно приобретенные права у них были отняты, и в то самое время, когда его родной брат Филипп еще сражался за Рейном в рядах немецкого войска, тевтонофильствующий секретарь полицейского управления должен был ввиду своего еврейского происхождения проститься со своим местом. После неоднократных попыток заставить Бёрне путем мелких придирок самому подать в отставку, начальство прямо попросило его оставить службу, предложив в виде вознаграждения ежегодную пенсию в 400 гульденов, которую Бёрне согласился принять только вследствие настойчивого желания отца.

Франкфуртские евреи, конечно, пытались протестовать. Бёрне составил докладную записку, в которой были изложены их права и которую его отец вместе с другим депутатом представил Венскому конгрессу. Но, как ни расположен был Меттерних к своему бывшему школьному товарищу и его единоверцам, тупая, мелкая, лавочная вражда франкфуртских патрициев одержала в конце концов верх, и положение о евреях 1616 года – этот «роман злобы», как называл его Бёрне – со всеми приведенными нами деталями было восстановлено в прежней силе. Возмущенный Бёрне написал было еще одну статью в защиту своих соплеменников, но на этот раз его отец, который сам побудил его написать статью, нашел тон автора слишком резким и из осторожности позаботился об уничтожении всех уже напечатанных экземпляров.

Многие полагают, что тяжелый урок, полученный Бёрне в эпоху войн за освобождение, имел большое влияние на его позднейшее политическое направление. Это мнение в общем,

конечно, вполне справедливо, – но неправы те, кто утверждает, что оскорбленное личное самолюбие могло повлиять на его идеи. Реакция против евреев, жертвою которой сделался и он сам, произвела на Бёрне особенно сильное впечатление именно потому, что, как можно было судить по многим признакам, это был только первый шаг к восстановлению старого гнилого здания, разлетевшегося, как карточный домик, при одном прикосновении Наполеона, у немцев, взваливавших на одного завоевателя всю вину давившей их тирании, стремление к свободе и ненависть к французам слились в одно чувство, а так как, говорит Бёрне, люди ненавидят и презирают даже хорошее и благое, если оно предлагается им вражескими руками, то немцы отнеслись с презрением и негодованием и к тем положительным началам, которые были внесены в немецкое законодательство французами. Началось с уничтожения дарованной ими евреям гражданской свободы, но можно было ожидать, что это именно только *начало* и что скоро весь средневековый мрак, на время разогнанный яркой струей света, блеснувшей из Франции, нависнет над Германией с прежней Тяжестью.

Уже один исход Венского конгресса показал, как верно Бёрне понимал события. Известно, какой постыдной реакцией закончился внезапный подъем национального чувства, обнаруженный немцами во время освободительных войн, как быстро государи забыли о своих обещаниях народу, сделанных ими в минуту опасности, и как доверчиво и беспечно этот самый народ, ослепленный своим неожиданным успехом над исполином Наполеоном, выпустил из рук все плоды своих кровавых усилий. И когда он очнулся, когда, отрезвившись от опьянения собственным геройством, он спросил себя: чего же он добился этим геройством, что же он выиграл от того, что взамен одного великого чужеземного деспота снова водворил у себя своих доморощенных 36 маленьких деспотов, – было уже поздно: венские дипломаты между танцами и любовными интригами успели опутать его крепкими, неразрывными сетями, и добродушный Михель в своей лояльности поспешил примириться со свершившимся фактом. Прежнее раздробление Германии осталось в полной силе, а бундестаг, на который патриоты возлагали столько надежд, оказался простым дипломатически представительным учреждением, преследовавшим те же реакционные цели. На конгрессах Ахенском, Карлсбадском и Веронском аристократические, иерархически иезуитские и подобные им тенденции правительств проявились особенно открыто. Либеральные государственные люди, верившие вместе с народом, что только что окончившиеся войны будут иметь

последствием освобождение не только от французского господства, но и от тех политических язв, которые облегчили французам их победы, – одни принуждены были выйти в отставку, другие сами перешли на сторону реакции. Превосходно организованная полиция деятельно занялась истреблением в народе всякого оппозиционного духа – либеральные наставники юношества либо выгонялись со службы, либо засаживались в казематы; тюрьмы и крепости переполнились так называемыми «демагогами». Чтобы усыпить народ, не дать ему задуматься над его неприглядным настоящим, покровительствовали нездоровому романтическому направлению в науке и литературе, отворачивавшемуся от действительной жизни и вдохновлявшемуся идеалами, заимствованными из средних веков. Другим средством сбить народ с толку и заставить его заподозрить законность понятий о свободе и гражданских правах служило разжигание дурных страстей массы, ее цехового духа и религиозной нетерпимости. Преследования евреев, в некоторых местах доходившие до настоящей травли их на улицах, должны были служить для той же цели. Бёрне прекрасно понимал, к чему все это ведет. Недаром он сравнивал впоследствии эти гонения на евреев с индийской охотой на змей, состоящей в том, что змее отдают в жертву быка; она нажрется и приходит в такое бесчувственное состояние, что ее может в это время убить даже ребенок. Так же поступали интриганы и с немецким народом. «Его подстрекали, – говорит Бёрне, – к злоупотреблению свободой, чтобы иметь возможность сказать, что он не достоин свободы; его сделали тюремщиком евреев на том основании, что бессменное пребывание в тюрьме равно обязательно как для тюремщиков, так и для заключенных».

Но, спрашивается, как же относилась ко всему этому литература, периодическая печать? О, если верить последней, то в Германии все обстояло как нельзя благополучнее. Поэты и общественные ораторы все еще продолжали воскуривать народу одуряющий фимиам славословий за его необыкновенные доблести, а простодушный Михель, опьяненный этой лестью, блаженно засыпал и во сне видел себя если не королем, то по меньшей мере гофратом. Честные искренние романтики Шлегель, Геррес, Адам Мюллер и другие, воспевавшие средние века с их Германской империей и папским могуществом, производили в умах такую же путаницу, как продажные писаки и льстецы. Немецкие ученые углублялись в глубокомысленные филологические изыскания, исписывали целые тома исследованиями о кимврах и херусках, франках, аллегманнах, вандалах и других предках немцев, приходили в экстаз от

доблестей Арминия – и совершенно не думали о нуждах и потребностях его современных потомков. Что же касается публицистики – что-нибудь бесцветнее, водянистее, раболепнее тогдашней периодической печати трудно даже себе и представить. О том, что составляло злобу дня, о вопросах политики, общественной жизни, о прогрессивных движениях в обществе и церкви – обо всем этом никто не смел заикаться. В своем прелестном фельетоне «Сумасшедший в гостинице Белого Лебедя» Бёрне впоследствии дал нам необыкновенно злую, но верную сатиру на тогдашнее направление печати. Его «Oberpostamts-Zeitung» – это тип тогдашней немецкой газеты, все содержание которой исчерпывается городскими сплетнями, назначениями по службе, описаниями юбилеев всевозможных «ратов» да театральными рецензиями. При таких обстоятельствах неудивительно, что большинство честных журналистов, не перешедших еще на службу реакции, отказалось от всякой борьбы и наполняло столбцы газет бессмысленными, но зато вполне благонамеренными рассуждениями на темы: через сколько десятков тысячелетий упадет Луна на Землю или кто из двух писателей выше – Шиллер или Коцебу?

В самый разгар этой реакции у Бёрне созрело решение посвятить себя окончательно публицистической деятельности. Для него было ясно, что страшный упадок литературы является результатом не нравственной бессодержательности нации, а лишь той ненормальной политической системы, которая придушила ее свободное развитие. Он был также убежден, что человек с талантом и доброй волей даже при тех невыгодных условиях, в какие была поставлена печать, может высказывать народу многие полезные истины. И он вздумал произвести переворот в журналистике. С пером в руках Бёрне решился начать борьбу со всеми теми пороками и недостатками, которые уродовали добрые задатки немецкого народа, – с его холопством перед сильными при природной храбрости и мужестве, с его детской страстью к титулам и отличиям, с его грубостью и необразованностью при массе ученых центров и любви к науке, а больше всего, на первом плане – с полным отсутствием у него политического смысла.

Решение это, конечно, пришло не вдруг. Несмотря на успехи его первых литературных произведений, мысль о том, чтобы совершенно посвятить себя публицистике, долго не приходила Бёрне в голову. Еще в 1815 году известный издатель Котта, стяжавший себе славу покровительством молодым талантам, предложил ему сотрудничество в двух принадлежавших ему периодических изданиях. Но Бёрне был еще так робок и неуверен в себе, что отклонил это лестное предложение. Его

нерешительность усиливалась и вследствие той добросовестности, с какой он работал, и отсутствия писательской рутины, которую, впрочем, он не приобрел и впоследствии. Бёрне, в сущности, писал очень легко и свободно, – но у него была привычка не садиться за работу до тех пор, пока сюжет и форма окончательно не выяснялись и укладывались в его голове, так что потом ему уже не приходилось ни изменять, ни исправлять написанного. При этом он был очень разборчив в выражениях – какой-нибудь недающийся образ мог надолго задержать окончание работы. Честолюбие, жажда известности, так часто вдохновляющие писателя и увеличивающие его производительность, были ему совершенно чужды, еще менее могли повлиять на него какие-нибудь материальные соображения. Таким образом, прошло несколько лет, прежде чем ход событий, все больнее затрагивавших лучшие струны его сердца, и возрастающее сознание собственных сил вывели его на настоящую дорогу, вполне соответствовавшую его истинному призванию. Бёрне уже достиг 33-летнего возраста. В тяжелой школе событий, последовавших за победами 1815 года, его политические взгляды вполне созрели. Его слог, на котором в первых работах еще заметно влияние его тогдашних любимых писателей – Иоганна Мюллера и Вольтера, – теперь, под влиянием чтения родственного ему по духу Жан-Поля, выработался окончательно и почти достигал уже той виртуозности, которою не могли не восхищаться даже политические и литературные противники автора «Парижских писем». В небольших анонимных статьях, печатавшихся во франкфуртском журнале, он постепенно выработал способность говорить об известных вещах правду таким образом, что она была ясна для всякого, несмотря на стилистическую маскировку. Словом, Бёрне созрел окончательно, и когда в 1818 году он разослал объявление о предпринятом им издании нового журнала, то в этом объявлении сразу можно было угадать руку не новичка в журнальном деле, а опытного мастера, вполне сознающего взятую на себя задачу и имеющего все данные, чтобы успешно бороться за ее осуществление.

Но прежде чем привести свой план в исполнение, Бёрне сделал шаг, который казался ему необходимым для успеха его дальнейшей деятельности: 5 июня 1818 года он перешел в лютеранство, причем оставил свою еврейскую фамилию и с тех пор стал называться Карл Людвиг Бёрне. Имя Карл перешло к нему от крестного отца, что же касается происхождения его новой фамилии, то оно остается невыясненным, так как собственное объяснение Бёрне, называющего в одном из «Парижских писем»

родоначальником своего семейства «великого Бёра» (откуда и Bör-né), конечно, следует считать лишь юмористической выходкой.

После всего, что мы говорили о воспитании и ходе развития будущего писателя, превращение еврея Баруха в христианина Бёрне вряд ли покажется кому-нибудь очень странным. Бёрне, как мы видели, еще в детстве был чужд еврейству, его религии, нравам и обычаям. С тех пор как он, уже с 14-летнего возраста, очутился на свободе, живя то в доме христиан, как у Гецеля или Рейля, то в кругу единоверцев, совершенно порвавших с еврейскими традициями, как Генриетта Герц (впоследствии принявшая также христианство), это отчуждение, конечно, должно было еще усилиться. Если он до конца своей жизни не переставал пламенно бороться словом за эмансипацию своих соплеменников, то ничуть не вследствие особого расположения к ним. «Я люблю не еврея и не христианина, – говорил он, – я люблю их только потому, что они – люди и рождены для свободы. Свобода – душа моего пера, пока оно не притупится или не парализуется моя рука». Сами по себе, с их тогдашним направлением, евреи были ему даже прямо антипатичны – в большинстве случаев он видел в них только людей денег и чисел. Правда, он не был и верующим христианином в узком значении этого слова. Насколько можно судить по его письмам, Бёрне обладал искренним и глубоким религиозным чувством, которое не могло замкнуться в узкие рамки той или другой вероисповедной формы. Лютеранство, однако, казалось ему тогда менее стеснительным, и если он впоследствии выразился однажды, что ему жаль тех 5 луидоров, которые пришлось дать пастору за крещение, то это еще не значит, что он продолжал в душе оставаться евреем. Но главная причина, побудившая его к этому шагу, была, как мы сказали, чисто политическая. Он понимал, что его еврейство будет только помехой на избранном им пути, что за ним как евреем будут отрицать право принимать участие в судьбе Германии. По словам Гуцкова, «Бёрне хотел выйти из того одностороннего положения, в котором он находился в отношении к своим единоверцам, и получить возможность стать на такую вышину, с которой он мог бы с одинаковой зоркостью обозревать все интересы Германии. Для этого надо было прежде всего уничтожить возражение, что он как еврей не имеет права участвовать в этих интересах…»

Насколько подобные соображения были верны, насколько Бёрне своим крещением действительно достиг предполагаемой цели – это другое дело. Для таких «патриотов», которые полагали, что искренне интересоваться судьбами немцев, искренне любить

свою немецкую родину могут только люди с голубыми глазами и белокурыми волосами, ведущие свое происхождение от какого-нибудь мифического Херуска, Хатта или Гермундула, – в глазах подобных патриотов факт крещения Бёрне, конечно, не мог смыть его еврейского происхождения. Эти люди и впоследствии не забывали о его предках, и всякий раз, когда они чувствовали, что доводами логики им не убедить немецкого читателя в неправоте писателя, так горячо отстаивавшего его интересы, всякий раз, когда, по выражению Бёрне, его противники видели, что они могут разбиться о *Бёрне* и потерпеть умственное кораблекрушение, они хватались за *Баруха* как за спасительный якорь. С этой точки зрения 5 луидоров, уплаченных пастору, были, конечно, потрачены напрасно. Но как бы мы ни смотрели на перемену религии, не вызванную искренним религиозным убеждением, заподозрить Бёрне в том, что он руководился какими-нибудь своекорыстными замыслами, желанием приобрести возможность изменить свое общественное положение, как объясняли враги его переход в христианство, – на это мы не имеем никакого права. Все поведение Бёрне до этого шага и вся дальнейшая его общественная деятельность служат лучшим опровержением подобных нелепых обвинений. Крещение Бёрне долго оставалось неизвестным не только его родителям, но даже близким знакомым, и обнаружилось только случайно, по поводу одного судебного процесса, в котором он был замешан. Как мало Бёрне был способен извлекать выгоды из своего перехода в христианство, видно уже из того, что, когда примерно в это же время франкфуртское общество любителей чтения отказало ему в его просьбе пользоваться газетами и журналами из читальной общества на том основании, что по уставу лица иудейского вероисповедания не принимаются в члены, Бёрне, бывший тогда уже христианином, не рассеял их заблуждения. Он был слишком возмущен подобною узостью взглядов, и хотя получение многочисленных газет и журналов, выписываемых обществом, было для него как журналиста очень важно, тем не менее он скрыл свой переход в христианскую религию.

Глава IV

Объявление об издании «Весов». – Программа нового журнала. – Политическое направление Бёрне. – Театральные рецензии. – Успех «Весов». – Бёрне как художественный критик. – Сравнение с Лессингом. – Критика «Вильгельма Телля» и «Гамлета». – «Полет времени». – Поездка по Германии и знакомство с представителями романтической школы. – Отъезд в Париж. – Г-жа Воль и ее роль в жизни Бёрне.

«Весы. Журнал для гражданской жизни, науки и искусства» – таково было название нового журнала, которым Бёрне в 1818 году открыто дебютировал на избранном им поприще политического писателя.

Уже одно объявление о новом издании должно было, как мы сказали, возбудить всеобщее внимание. Бёрне излагает здесь перед читателями свою программу, свой взгляд на обязанности и назначение журналистики и при этом смело бросает перчатку господствовавшему в ней до сих пор направлению. «Немцы, – говорит он в начале этого объявления, – обыкновенно встречают появление нового журнала либо с насмешливой улыбкой, либо с раздражением. Вследствие долгой кабинетной жизни они совершенно отвыкли от жизни общественной; продолжительная беседа о гражданских делах отечества кажется им не „необходимым непрерывным дыханием здорового и свободного духа, а стоном удрученной груди“, который раздражает их и которого они по возможности хотели бы не слышать. Как будто игнорировать свои недуги – значит не иметь их, как будто больной может излечиться от своих страданий, если ему завяжут уста, жалующиеся на них!» Бёрне смотрит на задачу журналистики гораздо шире. Публичное обсуждение общественных недугов не может быть бесполезным, потому что печать преследует не только отрицательные, но и положительные цели. «Стремление и цель нашего журнала, – говорит Бёрне, – будет состоять в том, чтобы искоренить в умах читателей мысль, что журналы должны служить только секундной стрелкой часов для изобличения неправильного биения государственного пульса, а не самой пружиной, дающей времени правильный ход и поддерживающей эту правильность». Другое назначение журналистики Бёрне видит в том, чтобы свести науку с тех заоблачных высот, на которых она витала до сих пор, сделать ее доступной для массы. Нет на свете страны, говорит Бёрне, которая превосходила бы Германию числом источников знания, а между тем народ томится духовною жаждою. Сокровища науки,

добытые пытливостью немецких ученых, целыми десятками лет лежат совершенно без пользы для народа, потому что «слитки истины, складываемые богатым духом в больших произведениях, не годятся для удовлетворения повседневных житейских потребностей людей, бедных духом. Эту годность имеет только отчеканенное в ходячую монету знание», и поставлять эту монету должны журналы. Они одни поддерживают денежные обороты между теорией и практикой. Только они вводят науку в жизнь и возвращают жизнь к науке.

Посвящая свой журнал гражданской жизни, науке и искусству, Бёрне прямо заявляет читателю, что не будет следовать примеру так называемых *умеренных* писателей, которые вечно боятся называть вещи своими именами, «осторожно стараясь проходить даже между гнилыми яйцами». Бесстрастия, объективизма при обсуждении тех зол, какие ему придется отмечать в той или другой из этих областей, он не обещает. «Нельзя требовать от писателя, чтобы он без ненависти и любви, возносясь над всеми тучами эгоизма, слышал грозу *под* собою».

Единственное требование, какое можно предъявить писателю, помимо искренности, заключается в том, чтобы он постоянно сознавал возможность личного чувства и не имел притязаний на непогрешимость. Бояться борьбы мнений, опасаться злоупотребления свободой слова – нечего. «Опасно, – говорит Бёрне в заключение, – только заглушенное слово; то, к которому относятся с презрением, мстит за себя; но высказанное никогда не остается бесплодным. Находить в нем бесплодность может только заблуждение или слабоумие. В том, чего общественное мнение требует *серьезно,* – никто не может отказать ему; если оно не получает чего-нибудь по своему желанию – это значит, что требование было высказано вяло и равнодушно».

Сделать доступными народу те выводы науки, которые ревниво утаивались от него ее патентованными жрецами, воспитать его общественное мнение посредством распространения здравых политических идей, осветить его нынешнее унизительное положение, в какое он попал благодаря своей близорукости и апатии, и внушить ему *серьезное* желание выйти из этого положения – такова была задача, которую, по мнению Бёрне, должна преследовать журналистика, такова была цель, которую он поставил самому себе, выступая, со своей стороны, бойцом на арене печати. И он остался верен этой намеченной цели. С необыкновенной энергией, со всем пылом искреннего чувства и глубокого убеждения Бёрне до конца жизни не переставал бороться против вялости и политического невежества немецкого народа, без устали объясняя ему при

каждом удобном случае самые элементарные понятия, без знания которых невозможна политическая зрелость. Сегодня он говорил о равноправии всех перед законом, на следующий день – о веротерпимости, о гласном суде, о самоуправлении и тому подобном. В то же время он чутко стоял на страже общественных интересов, предостерегая народ против ловушек, расставлявшихся ему, разоблачая ничтожность и глупость тех авторитетов, которым он до сих пор поклонялся и давал морочить себя. Немецкие правительства, с таким цинизмом распределившие между собой на Венском конгрессе своих подданных, точно это было стадо бессловесных баранов, старавшиеся убедить этих подданных, что они вовсе не немцы, а баварцы, гессенцы, зигмарингенцы, липпе-шаумбургцы и т. п. и что у них поэтому должен быть патриотизм не немецкий, а специально гессенский, баварский и так далее, – эти правительства сделались для Бёрне главной мишенью, в которую он всю жизнь не переставал метать самые ядовитые стрелы своей беспощадной сатиры. С редким умением, несмотря на стеснительные цензурные условия, он раскрывал народу политические интриги Меттерниха и его сподвижников. В своих «Робких замечаниях об Австрии и Пруссии» он изобразил существенный характер этих государств в их взаимном восполнении одного другим и в то же время прозрачно указывал на то, насколько такое восполнение будет опасно для Германии, если эти государства выработают ту политику, которая в то время еще не так открыто выказала себя на деле и в существовании которой многие поэтому еще сомневались. По временам он делал обзоры тогдашнего политического положения Европы, доказывая, как единодушно и совместно действовала одна и та же феодальная партия в Испании, Италии, Франции и Германии. В своих «Афоризмах» он касался более мелких политических происшествий, подводя их под общую точку зрения своих руководящих политических взглядов Но самым интересным отделом в «Весах», более всего содействовавшим успеху издания, были театральные рецензии Бёрне, которыми он пользовался не только для проведения своих взглядов на искусство, но и как средством для политической пропаганды. Бёрне сам впоследствии рассказывал, что привело его к роли театрального критика. Так как объемистые сочинения освобождались от предварительной цензуры, то он решил издавать свои «Весы» не в определенные сроки, а только тогда, когда «история или наука нагрузят их», то есть когда накопится достаточно материала. Но вот объявления были разосланы, деньги с подписчиков собраны, типография в ходу, – а материала оказывалось недостаточно. «В *Весах,* –

говорит Бёрне со своим обычным юмором, – недостатка не было, но взвешивать оказывалось нечего. На рынке было пусто, народ оставался без дела; народец же в высших сферах торговал воздухом, ветром и вообще невесомыми материями. Что же было делать?» Пишите о театре, произнес ему на ухо чей-то голос. «Совет был хорош, – говорит Бёрне, – и я последовал ему. Я надел почтенный парик и стал решать в самых важных и горячих, спорных делах немецких граждан, – в делах комедиантских».

«Весы» имели громадный успех. Первую книжку Бёрне вскоре пришлось выпустить вторым изданием. Со всех сторон он получал выражения сочувствия, одобрения. Не только либералы, но даже реакционеры вынуждены были признать, что новый журнал представляет явление далеко не заурядное. Даже Генц, этот достойный сподвижник Меттерниха, отозвался восторженно о талантливом авторе театральных рецензий. Каково было впечатление, произведенное первыми книжками нового журнала, лучше всего можно видеть из одного письма знаменитой Рахели Варнхаген. «Доктор Бёрне, – писала она одному из своих друзей, – издает журнал „Весы“. Генц рекомендовал мне его как умнейшее и остроумнейшее из всего, что появляется у нас в настоящее время, он восторженно расхваливал мне его и сказал между прочим, что со времени Лессинга не читали мы таких театральных рецензий. Я, натурально, поверила Генцу. Но когда принялась читать сама, то увидела, что достоинство этих статей далеко превосходит расточаемые похвалы. Автор удивительно остроумен, глубокомыслен, правдив, смел, не следует новой моде, а совершенно нов сам по себе, со справедливым негодованием смотрит на все кривое и фальшивое. И вот уж честный человек в полном смысле этого слова… Постарайтесь достать и прочесть эти рецензии. Вы посмеетесь вдоволь! – Генц сильно порицает его политические мнения, но находит естественным, что он имеет и высказывает их».

Сопоставление Бёрне с Лессингом, которое мы находим в письме Рахели, совершенно естественно. Действительно, когда читаешь театральные рецензии Бёрне, то невольно вспоминаешь «Гамбургскую драматургию» Лессинга. Как у того, так и у другого театр служил только средством, чтобы проводить свои эстетические и политические теории. Но Бёрне является в своих рецензиях не подражателем, а только продолжателем Лессинга. Последний предпринял настоящий крестовый поход против прежних псевдоклассических образцов и на место разбитых кумиров поставил величавый образ Шекспира. Но Лессинг упустил из виду, что Шекспир был продуктом страны с могучим общественным развитием, что он вдохновлялся свободным

развитием старой Англии, борьбой за отечество, национальной идеей и что именно этого социального чувства, этой широкой общественной жизни недоставало Германии. Возможна ли национальная драматическая поэзия там, где нет даже единства отечества? Поэтому «Гамбургская драматургия», начатая с таким юношеским энтузиазмом, заканчивается словами сомнения и уныния. «Смешная наивность, – восклицает Лессинг, – желать, чтобы у немцев был национальный театр, когда они сами еще не составляют нации». Эти заключительные слова Лессинга служат как бы исходным пунктом для Бёрне. Последний с самого начала убежден в связи драматической поэзии с развитием национального чувства, и в своих рецензиях неустанно проводит ту мысль, что коренной порок немецкого театра заключается в отсутствии национальности, в отсутствии свободы. Драма – это отражение жизни, но если жизнь так мелка и ничтожна, то чего же требовать от ее отражения?

«Народ, который потому только и народ, что он, как стадо, пасется на одном поле, – говорит Бёрне в предисловии к собранию своих драматических рецензий, – народ, который боится волка и почитает собаку, а когда грянет гроза, скорей прячет голову и терпеливо ожидает, пока минует гром; народ, который ни во что не ставится в ежегодных итогах истории и который сам себя не ставит ни во что даже тогда, когда он выполнил какую-нибудь задачу, – такой народ может быть очень добр, хорошо прясть лен, быть полезным в домашнем хозяйстве, – но никогда такой народ не будет иметь драматической поэзии; он всегда будет только хором в каждой чужой драме, представлять мудрые рассуждения, но никогда такой народ не будет сам героем. Все наши драматические поэты – дурные, хорошие и самые лучшие – общего между собою, национального, имеют только одно – отсутствие национального, и характерного – бесхарактерность».

К этим-то причинам, уродующим развитие драматической поэзии, Бёрне неизменно возвращается в своих рецензиях. Подвергая критике жалкие пьесы тогдашнего репертуара, где действующие лица были списаны не с натуры, а сочинялись по старым шаблонам, где драматизм положения обусловливался не характером героев, а каким-нибудь случайным обстоятельством вроде физического уродства или таким искусственным приемом, как проклятие прабабушки, преследующее ее потомка, Бёрне в то же время объясняет публике, почему она при теперешних обстоятельствах и не может рассчитывать на что-нибудь лучшее. Такие гении, как Шиллер и Гёте, – явления случайные, и на неблагоприятной почве даже они не в состоянии были поднять

общий уровень тогдашнего театра. Вообще, Бёрне не упускал малейшего случая, чтобы под прикрытием театра делать смелые вылазки на ненавистные политические порядки. Не было такого сюжета, по поводу которого он не сумел бы коснуться какого-нибудь общественного зла, не сумел бы заронить в умы читателей новую политическую идею. Самая бездарная пьеса давала ему повод высказывать такие мысли, какие никогда бы не прошли в более серьезной статье. То же бывало при обсуждении игры актеров. Только он один мог говорить о политике по поводу игры m-lle Зонтаг и нагонять страх на членов франкфуртского сената, описывая воздушные танцы Тальони. Оттого-то его театральные рецензии о пьесах и актерах, давно уже сошедших со сцены, не утратили еще и поныне некоторого значения. Написанные со свойственным Бёрне остроумием и блеском, они читаются с таким же интересом, как и многие из статей публицистического содержания.

Не следует, однако, полагать, что преобладающие политические тенденции Бёрне отражались невыгодно на его чисто художественной критике, что его либеральные симпатии мешали беспристрастию его рецензий. За исключением несколько сурового и одностороннего отношения к Гёте, о котором мы скажем в другом месте, Бёрне является тонким и вполне беспристрастным ценителем разбираемых произведений. Конечно, как художественный критик он стоит ниже автора «Гамбургской драматургии». У него нет такого стройного эстетического миросозерцания, как у Лессинга, он не исходит, подобно последнему, из прочно установленных заранее художественных принципов. В своих рецензиях он рассуждает скорее как дилетант, разбирая каждую пьесу отдельно, вне связи с той или другой теорией. Это, так сказать, критик von Fall zu Fall[1]. Бёрне сам говорит о себе, что был «натуральным критиком», судившим, как присяжный, по своему чувству и совести, не обращая внимания на то, что приказывали или запрещали драматическому искусству Аристотель, Лессинг, Шлегель, Тик и другие. Тем не менее благодаря его здравому смыслу и врожденному художественному чутью его рецензии поражают своею тонкостью и глубиною. Все неестественное, ходульное было ему глубоко ненавистно, и на всякую фальшь, как в драматических произведениях, так и в их исполнении, он набрасывался с самой беспощадной насмешкой. От художественного произведения Бёрне требовал не одной только художественности. Он требовал, чтобы и сама идея пьесы была глубоко нравственна, и там, где, на его взгляд, автор грешил против его возвышенного идеала нравственности, он не стеснялся

развенчивать даже всеми признанные авторитеты. Как на образец подобной оригинальной, хотя и несколько односторонней критики можно указать на его разбор «Вильгельма Телля» Шиллера. Выстрел Телля в сына, в котором все критики усматривали что-то геройское, возбуждает в Бёрне сильнейшее негодование. Это безнравственно, говорит он, это противно природе – отец не мог и не должен был стрелять в своего сына. Ему следовало лучше выстрелить сейчас же в тирана. Вообще, Бёрне совершенно развенчивает Телля как героя, – и в этом отношении он, конечно, прав. Телль вовсе не герой; напротив, это человек хотя храбрый и честный, но с узким и ограниченным кругозором. «Характер Телля – подчиненность», – справедливо говорит Бёрне. Чувство собственного достоинства соединяется в нем всегда с чувством боязни. Так, он хотя и не отдает поклона шляпе, вздернутой на кол, но проходит мимо нее не с гордо поднятой головой, а волнуясь, с опущенными глазами, чтобы иметь право сказать, что он не видел шляпы. Жестокое циническое требование Гесслера показать свое искусство, стреляя в сына, не вызывает в нем совершенно естественного в такую минуту желания покончить с тираном. Нет, он обращается к нему с просьбами, хочет его умилостивить, называет «lieber Herr» и после всех этих унижений все-таки производит свой «героический» выстрел. Но что более всего возмущает Бёрне – так это смерть Гесслера. «Я не понимаю, – говорит он, – как можно находить этот поступок нравственным, а еще более – как можно находить его прекрасным». Почему Телль не убил Гесслера в ту минуту, когда тот посягал на самое священное из чувств – на его отцовское чувство, почему он не принял участия в заговоре соотечественников против тирана страны, а предпочел расправиться с ним, как трус, из-за угла, не рискуя своей личной безопасностью? Нападая, и совершенно справедливо, на личность Телля, доказывая, что этот «герой» драмы – вовсе не герой, Бёрне, однако, упускает из виду, что именно в этом отсутствии «героизма» и заключается заслуга автора, что Шиллер с поразительным реализмом нарисовал нам мужественных швейцарцев не политическими героями, а простыми свободолюбивыми горцами, без всяких идеальных прикрас. Впрочем, несмотря на свои нападки на «Вильгельма Телля», Бёрне и сам признает это произведение одной из лучших драм, какими обладают немцы. «С произведениями искусства, – добавляет он, – бывает то же, что и с людьми; при самых больших недостатках они могут нам быть милы». Еще более тонким, глубоким анализом отличается его разбор «Гамлета». Бёрне, подобно Лессингу, преклоняется перед гением Шекспира, а «Гамлета»

считает самым замечательным из произведений великого драматурга. Мечтательный датский принц, который вследствие постоянных дум и философствований никак не может перейти к делу и по неловкости оскорбляет и убивает только невинных, кажется Бёрне настоящей копией немца. «А ведь Шекспир был англичанин! – заканчивает он свой мастерский разбор этого великого произведения. – Напиши „Гамлета“ немец, я бы нисколько не удивился. Немцу был бы для этого нужен только красивый почерк. Он переписал бы на бумагу самого себя – и „Гамлет“ готов».

Для актеров Бёрне был настоящей грозой. Он немилосердно осмеивал всякую фальшь в игре, так что раздраженные артисты франкфуртского театра не раз пытались отомстить ему каким-нибудь скандалом или даже насилием. Одно время Бёрне даже принужден был ходить в театр с парой пистолетов в кармане. К попыткам задобрить его упрашиваниями и вещественными подношениями он оставался так же нечувствительным, как и к угрозам, и, чтобы отбить у актеров охоту являться к нему с подобными просьбами, он нарочно извещал публику об их визитах – конечно, в шутливой форме. Так, в одной своей рецензии он писал: «M-me Келлер играла Эмму фон Фалькенштейн. Так как ее муж просил меня щадить ее в своих отзывах, то я это и делаю». Понятно, что после такого снисходительного отзыва г-жа Келлер уже закаялась подсылать к нему мужа. Бёрне, впрочем, умел не только остроумно ругать, но и хвалить остроумно. Его рецензия на игру знаменитой Генриетты Зонтаг представляет такой блестящий, можно сказать поэтический панегирик, что его и теперь нельзя читать без наслаждения. Невольно вспоминаешь нашего Белинского, обессмертившего своей рецензией Мочалова.

Театральные рецензии прославили Бёрне. Не было человека, который, проезжая через Франкфурт, не захотел бы представиться знаменитому доктору Бёрне, «пишущему против комедиантов». Бёрне сразу занял выдающееся положение, обратил на себя внимание всей читающей публики.

Ободренный успехом, Бёрне решился расширить свою деятельность. «Весы», как мы сказали, не были периодическим изданием, это был скорее сборник статей с журнальным характером, выходивший в неравные промежутки. Но Бёрне хотел влиять на публику более интенсивно, чаще пропагандировать свои идеи, и поэтому он охотно согласился на предложение одного из издателей, типографа Веннера, – принять на себя редактирование ежедневной газеты «Staatsristretto», переименованной в «Газету вольного города Франкфурта». Четыре

месяца Бёрне с неутомимой энергией вел это дело, но в конце концов пришел к убеждению, что при тогдашних обстоятельствах газета от его руководительства ничего не выигрывает, и по своей добросовестности отказался от редакторства. Но он решился сделать еще одну попытку – на этот раз с еженедельной газетой, которую стал печатать в Оффенбахе, под названием «Полет времени» (Zeitschwingen).

Новый опыт оказался также неудачным. Через несколько месяцев после выпуска первого номера Бёрне по не зависящим от него обстоятельствам уже принужден был закрыть газету. Усталый, раздраженный этими неудачами, Бёрне решился дать себе небольшой отдых. Его уже давно занимала мысль о поездке во Францию. Еще до окончательного прекращения «Полета времени» он совершил небольшое путешествие по Рейну, побывал в Майнце, Кобленце, Кельне и Бонне и во время этого путешествия встретился с Герресом, Шлейермахером, Шлегелем и Арндтом. Но эти представители отживающей романтической школы не пришлись ему по душе, при всем его уважении к их личным достоинствам. «Эти люди, – писал он по поводу своих визитов к Арндту и Герресу, – золото чистое, самородное, но для ковки негодное. Нет в них ничего греческого – все какая-то угловатость, какая-то лубочная рисовка. Француз и нечестивец по их понятиям – такие же одинаковые вещи, как два и два. Всё желают они видеть утвержденным на непоколебимо прочном фундаменте; оттого-то они докапываются до глубоких, старых корней, оттого они любят право историческое, а не жизненно свежее, рождающееся каждый день, вечно новое. Стой они во главе немцев, плохо пришлось бы немецкому делу…»

Вернувшись во Франкфурт из этой поездки, Бёрне убедился, что дальнейшее пребывание в этом городе для него небезопасно. Он заметил, что франкфуртские члены бундестага сделались усердными покупателями отдельных номеров его газеты, – а такое внимание в то время, когда ежедневно производились новые аресты и тюрьмы и крепости переполнялись людьми сомнительной благонамеренности, – показалось Бёрне довольно зловещим предзнаменованием. Еще более возбудило его опасения то обстоятельство, что ему под разными предлогами задерживали выдачу паспорта. Медлить было нечего. Бёрне решился предупредить опасность и, не дожидаясь паспорта, уехал в Париж.

* * *

Со времени первой поездки Бёрне в Париж, – поездки, за

которою начинается для него скитальческая жизнь, мы приобретаем весьма ценный биографический материал в переписке знаменитого писателя с его лучшим другом, с неизменной спутницей его жизни – m-me Воль.

Роль этой женщины в жизни Бёрне, ее влияние на его литературно-политическую деятельность так велики, что мы должны остановиться подробнее на характере и истории их отношений.

Зимою 1816/17 года в доме одного из своих франкфуртских друзей Бёрне познакомился с молодой женщиной, которая была ему представлена под именем г-жи Воль и которая, как он тут же узнал, недавно только развелась со своим мужем. Жаннета Воль (по мужу она была Оттен, но после развода приняла опять свою девичью фамилию) не принадлежала к числу тех блестящих женщин, которые сразу производят чарующее впечатление. Она не отличалась ни выдающейся красотой, ни блестящим, бросающимся в глаза умом, как m-me Герц. Скромная, приветливая, с редким тактом державшая себя в обществе, она была одной из тех глубоких недюжинных натур, которые нравятся тем более, чем ближе узнаешь их. И Бёрне, встречавшийся с ней часто у общих знакомых, не мог не оценить ее высоких умственных и нравственных качеств. Беседуя с ней о новых книгах, о событиях дня, он был поражен ее тонким литературным вкусом, сходством ее воззрений с его собственными и впервые после своего берлинского увлечения почувствовал серьезный интерес к женщине.

Со своей стороны, Бёрне также должен был понравиться m-me Воль. Небольшого роста, слабого телосложения, но с правильными чертами лица и прекрасными темными глазами, сверкавшими умом и добротой, он вообще пользовался расположением женщин и сам любил их общество, хотя и не представлял собою ни дамского угодника, ни донжуана. Неудивительно, что и m-me Воль, разошедшаяся с мужем именно потому, что он оказался ограниченным человеком, неспособным удовлетворять запросам более возвышенной натуры, сразу заинтересовалась остроумным собеседником, так непохожим на окружающих, с ореолом зарождающейся писательской славы. По мере того как молодые люди ближе узнавали друг друга, эта взаимная симпатия усиливалась и мало-помалу перешла в самую прочную неразрывную дружбу.

Конечно, о той пылкой, восторженной страсти, какую юноша Бёрне чувствовал когда-то к Генриетте Герц, здесь не может быть и речи. Чувства Бёрне к г-же Воль нельзя даже назвать любовью, – это была именно дружба, но самая крепкая, глубокая, потому что

основывалась на взаимном уважении, – одна из тех редких привязанностей, которые скептики считают почти невозможными между мужчиной и женщиной. M-me Воль была для Бёрне другом, товарищем в полном смысле этого слова. Она делила с ним горе и радость, никогда не расставалась с ним надолго, следуя за ним во время его частых переездов с места на место, лишь только он останавливался где-нибудь на более продолжительное время. Во время его болезни она ухаживала за ним с той преданностью и самоотверженностью, на какие способна только любящая женщина. Даже впоследствии, когда она вышла вторично замуж, ее дружба с Бёрне нисколько не пострадала, и до последней минуты она вместе с мужем окружала его самым трогательным попечением.

Что подобного рода странные, исключительные отношения служили неисчерпаемым материалом для всевозможных сплетен кумушек и врагов – это, конечно, понятно само собой. Даже друзья Бёрне первое время недоумевали, почему они, будучи оба свободны, не закрепляют своей нравственной связи браком. Когда Бёрне впоследствии был в Берлине, Генриетта Герц, познакомившаяся с m-me Воль находясь проездом во Франкфурте и оставившая о ней очень лестный отзыв, спросила его, почему он не женится на своей подруге. Бёрне объяснил это тем, что последняя ему не доверяет. Но причина, по всей вероятности, была другая, потому что зная Бёрне так, как знала его m-me Воль, она не могла бояться доверить ему свою судьбу. Дело в том, что у m-me Воль была очень набожная мать-еврейка, которую бы сильно огорчил брак ее дочери с христианином Бёрне. Впоследствии на это нежелание связывать друг друга должна была повлиять еще тревожная, необеспеченная жизнь Бёрне, его возраставшая болезненность. Как бы то ни было, о браке между ними не было и речи.

Какую громадную роль m-me Воль играла в жизни Бёрне – лучше всего можно судить по его переписке с этой женщиной. Бёрне делился с ней всеми своими мыслями и чувствами, никогда не предпринимал ничего без ее совета. Вдали от нее он испытывал страшную тоску, рассеивавшуюся только отчасти ее частыми письмами. «Я никогда еще не сознавал в такой степени, как необходимы Вы, дорогой друг, для моего счастья. Не отнимайте у меня единственного облегчения, которое мне доставляют Ваши письма». В другой раз он говорит: «Еще раз, дорогой друг, не забывайте, что Вы – всё для меня и что вся моя жизнь была бы во мраке, если бы Вы не освещали ее. Дайте мне чаще слышать Ваш голос в Ваших письмах и не пишите так разгонисто, а, подобно мне, мелким почерком, чтобы больше

умещалось на одном листе, так как я знаю, что, исписав один листочек, Вы не начнете другого…» Если письмо почему-либо запаздывало, Бёрне совершенно терял душевное равновесие и не в состоянии бывал ничего делать до тех пор, пока не убеждался, что его страх был неоснователен. Но не в одной только личной душевной жизни Бёрне m-me Воль играла важную роль, освещая своею преданностью его одинокое, лишенное других радостей существование. Ее влияние оказывалось очень сильным и благотворным и в его литературно-политической деятельности. Обладая весьма тонким литературным вкусом, m-me Воль была для Бёрне самым беспристрастным судьею, которому он постоянно отдавал на суд свои произведения и мнением которого дорожил в такой степени, что без одобрения m-me Воль не решался напечатать ни одной строчки. К тому же она была для ленивого, нерешительного писателя превосходным стимулом, постоянно возбуждавшим его творческую энергию. Она вечно понукала его работать, не давала ему покоя, если он забрасывал какую-нибудь начатую работу, и в то же время была взыскательна к написанному, требуя, чтобы все, выходящее из-под пера ее друга, было тщательно отделано. Даже его письма к ней должны были быть «хорошо написаны и интересны». Благодаря этому переписка Бёрне с m-me Воль важна не только как превосходный биографический материал, как прекрасный литературный образец его остроумия и юмора, но она представляет большой интерес еще и в историческом отношении, так как Бёрне делился со своей подругой решительно всем, знакомил ее со всеми событиями, составлявшими злобу дня, со всеми своими мыслями и чувствованиями по этому поводу. Достаточно вспомнить, что из этой переписки составилась значительная часть тех «Парижских писем», которые по справедливости считаются величайшим произведением Бёрне, чтобы понять, чем должна была быть для него та женщина, которой могли быть адресованы подобные письма.

Глава V

Первое пребывание в Париже. – Возвращение и арест Бёрне. – Поездка в Штутгарт и Мюнхен. – Ухаживания Меттерниха и разрыв с отцом. – Вторичная поездка в Париж и плоды ее: «Картины из парижской жизни». – Болезнь Бёрне. – Надгробное слово Жан-Полю Рихтеру. – Смерть Якова Баруха. – Поездка в Берлин. – Отзывы Бёрне о Берлине и берлинцах. – Первое издание собрания сочинений. – Печение в Содене. – Соденский «Дневник» и полемика с Гёте.

«Мне было хорошо в Париже. На душе у меня было так, как будто с морского дна, где водолазный колокол спирал мое дыхание, я снова выбрался на свежий воздух. Свет солнца, людские голоса, шум жизни восхищали меня. Мне уже не было холодно среди рыб; я не был больше в Германии…»

Так писал Бёрне несколько лет спустя в соденском «Дневнике», вспоминая о своем первом пребывании в Париже. Действительно, после удушливой атмосферы, водворившейся в Германии вслед за обнародованием знаменитых карлсбадских постановлений, после грубого произвола следственных комиссий с их инквизиционными приемами, даже Франция Людовика XVIII должна была показаться немецкому публицисту страною свободы. С веселым юмором он рассказывает о том, как, приехав в Париж в 10 часов утра, без всякого багажа, он, точно вырвавшийся на волю узник, бегал целый день по городу, из Пале-Рояля в Тюльери, из Тюльери на Вандомскую площадь, на бульвар, и только наступившие сумерки напомнили ему о том, что у него еще не было приюта на ночь. Необыкновенная вежливость и деликатность французов приводили его в восторг. Бёрне с удивлением рассказывает, как хозяин гостиницы, в которой он остановился без багажа, узнав из газет, что он приехал как политический беглец, предложил ему весь свой дом, свой стол, даже кошелек и согласился принять от него плату только тогда, когда убедился, что он – человек со средствами. Единственное, что раздражало Бёрне в Париже – это были его соотечественники, поспешившие навестить его сейчас же по приезде и считавшие нужным в его присутствии проливать слезы соболезнования над страданиями «любезного отечества». «Я охотно задушил бы этих мошенников», – восклицает по этому поводу Бёрне, которому притворство и фальшивый либерализм были еще ненавистнее, чем полный политический индифферентизм.

Приезд известного политического писателя не мог остаться незамеченным. В продолжение 14 дней парижские газеты всех

партий были наполнены толками о Бёрне, знакомили публику с его деятельностью, приводили выдержки из «Весов» и «Полета времени». Некоторые французские газеты просили его сотрудничества, и Бёрне, совершенно не привыкший в своем отечестве к такому вниманию публики к ее общественным деятелям, самым искренним образом удивлялся тому, что его приезд рассматривается французами как своего рода «событие». «Я не хотел верить своим глазам, – говорил он по поводу газетных толков о его особе, среди которых попадалось, конечно, немало небылиц. – Да что же я такое в самом деле? Высокая особа? Курьер? Певица? Сановник, празднующий свой юбилей? Ни то, ни другое, ни третье, – а между тем обо мне говорят газеты! Что за странный народ!»

Восторги его продолжались, впрочем, недолго. Тоска по родине скоро охватила Бёрне. Мысль, что он оставил Германию не по доброй воле, что ему, может быть, не удастся больше увидеть ее, еще более обостряла это чувство. И Бёрне, еще так недавно жаловавшийся на страшную скуку в Германии, радовавшийся тому, что может дышать менее спертым воздухом, уже через несколько недель пишет г-же Воль письмо, полное страстной тоски по родной стране, в нелюбви к которой его так часто упрекали: «На душе у меня не весело, далеко не весело, дорогая подруга! Я боюсь, чтобы со мной не приключилась болезнь – тоска по родине – и чтобы я не поддался ей. Меня мучает разлука не только с Вами, но и с нашими друзьями, даже с моим отечеством. Право, я сам не думал, что в родной земле пущены мной такие глубокие корни. Каждый раз, когда, идя по улице, я слышу немецкую речь, – сердце мое прыгает от радости. Ну скажите, не болван ли я, что оставил Вас для борьбы за благое дело, – борьбы, за которую, конечно, никто не поблагодарит меня. Покорись я требованиям времени, согласись я писать о тех лицах, о которых позволяют говорить, и умалчивать о том, чего не желают видеть в печати, я мог бы и во Франкфурте безмятежно заниматься литературой. Но свобода и Вы! Сердце человеческое так тесно. Отчего нужно непременно выбрать одно из двух?»

Скоро, однако, Бёрне пришел к мысли, что ему вовсе не предстоит такой дилеммы. По справкам, наведенным его друзьями, оказалось, что во Франкфурте ничто не угрожает его личной свободе, и вот в ноябре того же года (1819) мы снова застаем его в родном городе. «Полет времени» уже закрылся, но «Весы» продолжали еще выходить. Бёрне с жаром принялся опять за работу, как вдруг с ним стряслась неожиданная беда. Ночью 22 марта 1820 года он был арестован и отправлен в тюрьму, бумаги его все перерыты и опечатаны. Бёрне пришлось теперь на

практике познакомиться со всеми прелестями тех полицейских порядков, которые уже и раньше вызывали его негодование. В продолжение 14 дней он содержался под строгим заключением, не имея ни малейшего подозрения о причине этого ареста. Все были убеждены, что он замешан в каких-нибудь тайных революционных обществах. Напуганные домашние сожгли в это время целый ящик его писем и бумаг, представлявших, вероятно, очень ценный материал для его биографии. Но вся эта тревога оказалась фальшивой. По прошествии 14 дней Бёрне был выпущен на свободу, так как его невинность была вполне выяснена. Причина ареста оказалась пустячная. Некий студент Зихель, с которым Бёрне познакомился в Бонне, попался за распространение революционных прокламаций. Когда его спросили, кто автор этих прокламаций, Зихель, полагая, что Бёрне во Франции и не намерен более возвращаться в Германию, свалил вину на него. Полиция, конечно, скоро убедилась в неверности этого показания, – но пока она убеждалась в своей ошибке, бедный Бёрне, сидя на гауптвахте, напрасно перебирал в своем уме все возможные и невозможные преступления, в каких его могли заподозрить, и испытывал на себе всю «гуманность» тогдашнего обращения с опасным государственным преступником. К нему не только не допускали никого из близких, но даже отказывали ему первое время в позволении написать домашним несколько успокоительных слов по поводу своего внезапного исчезновения. Опасаясь самоубийства со стороны арестанта, ему не давали никакого острого орудия, даже ножа и вилки. Бёрне долго не мог забыть этого неприятного эпизода, который не остался для него без последствий даже в физическом отношении. Грубый арест сильно повлиял на его здоровье, так что скоро после выхода на свободу он решил прекратить издание «Весов», и без того еле влачивших свое существование, и уехать на время из Франкфурта. Такие поездки всегда действовали на него благотворно. Он забывал о собственных неудачах, о безотрадном положении отечества, набирался свежих впечатлений и новой охоты работать. На этот раз он прожил довольно долго в Штутгарте и Мюнхене, сотрудничая в либеральной «Неккарской газете». Плодами этого путешествия были его знаменитая сатира на немецкие почтовые порядки («Monographie der deutschen Postschnecke») и юмористический очерк «Виртуоз в еде» («Esskünstler»), списанный с одного из его соседей за столом в штутгартском табльдоте. В Мюнхене, где жила его замужняя сестра (с которой он был дружнее, чем с братьями), он чувствовал себя особенно хорошо – посещал церкви, театры, картинные галереи – и, вероятно, остался бы там

подольше, если бы один непредвиденный случай не заставил его внезапно оставить этот город, почти бежать. Случай этот так характерен, что мы должны остановиться на нем подробнее.

Необходимо заметить, что отец Бёрне не чувствовал себя достаточно вознагражденным литературными успехами сына за деньги, потраченные на его воспитание. По его мнению, Людвиг мог бы добиться гораздо большего при своих талантах. Разве это – карьера, говорил он, сочинять либеральные статейки, раздражающие знатных господ, и не зарабатывать на этом даже столько денег, чтоб хватило на собственное содержание. Впрочем, старик Барух понимал, что, даже оставаясь «сочинителем», его сын может добиться видного положения, – ведь сделал же себе Генц карьеру на австрийской службе. И заботливый отец, знавший цену своему сыну и не видевший ничего предосудительного в поступке Генца, не переставал доказывать своему непрактичному Луи, что пора наконец и ему серьезно позаботиться о своей будущности. Можно поэтому представить себе радость старика, когда во время пребывания его в Вене Меттерних сам заговорил с ним на эту тему. Хитрый дипломат прекрасно понимал, что завербовать Бёрне – значит одним ударом разбить всю либеральную партию. Даже если бы Бёрне не согласился сделаться слугой его политики, как Генц, достаточно было и того, чтобы беспокойный публицист перестал его тревожить своими разоблачениями, и для достижения этой цели он готов был не пожалеть ничего. Таким образом, через посредство отца Бёрне были сделаны от имени Меттерниха самые блестящие, на вид даже совершенно безобидные предложения. Пускай Бёрне только приедет в Вену, и он получит должность и жалованье императорского советника, причем должность эта будет лишь номинальная; ему предоставят полную свободу действий, в своей литературной деятельности он не будет стеснен никакой цензурой, он сам будет своим цензором и так далее.

Для Бёрне, однако, все эти переговоры оставались первое время тайной. Старик Барух слишком хорошо знал своего сына, чтобы сразу открыть ему свои карты. Он только написал ему в Мюнхен, прося приехать к нему в Вену, и Бёрне, ничего не подозревая, уже готов был последовать этому приглашению. Ему уже давно хотелось побывать в Австрии, изучить на месте «европейский Китай», как он называл эту страну, из которой реакция, как паук, раскидывала свои сети на всю Европу. Но необыкновенная ласковость отца, особенная настойчивость его приглашений показались ему подозрительными. Когда же он узнал о предложениях Меттерниха, то сразу заметил, что ему расставляют ловушку. Обещанию последнего, что ему позволят

все говорить, он не мог поверить.

«Вы знаете, – писал он г-же Воль, – что я не фанатик и что мои склонности, и особенно антипатии, всегда спокойны и обусловливаются соображениями рассудка.

Только к австрийскому правительству я чувствую истинно фанатическую ненависть. Стоит кому-нибудь только произнести слово *Австрия* – и в моем сердце точно отрывается кран, и целый поток упреков и проклятий быстро вырывается оттуда… Я прихожу в отчаяние, видя, какие глубочайшие корни пустила в этой стране аристократическая тирания, – прихожу в отчаяние, потому что не вижу никакой возможности воспрепятствовать этому злу… В этой стране чувству ешь свое полное бессилие, но бессилие ругается, и потому я тоже буду ругаться. Я буду молчать одну неделю, буду молчать другую, но на третью последует взрыв, – и самое меньшее, что из этого выйдет, будет высылка меня за границу посредством полиции…»

То обстоятельство, что от него ничего не требовали взамен предоставляемых льгот, конечно, не могло его успокоить. Он понимал, что само пользование милостями Меттерниха наложит на него известные обязанности, будет для него своего рода заключением в золотой клетке. «Мне, – говорит он в другом письме, – мне вступить на австрийскую службу! Мне решиться на добровольное заключение моего духа в тюрьму, где он будет лишен света, пищи, движения!.. Если бы я поддался соблазну, если бы я согласился, из любви к моему отцу, – это могло бы привести меня к самоубийству…» Чтобы положить конец всем переговорам и упрашиваниям родных, Бёрне упаковал свои вещи и тайком, ни с кем не простясь, уехал обратно в Штутгарт.

Отказ от заманчивого и внешне совершенно безобидного предложения Меттерниха рисует нам характер и убеждения Бёрне в тем более выгодном свете, что в материальном отношении он все еще зависел от отца, который, как он мог предвидеть, не простит ему такого упрямства. Действительно, между отцом и сыном благодаря меттерниховскому инциденту произошел почти полный разрыв, от которого Бёрне страдал вдвойне – и нравственно, так как он все-таки любил преданного ему по-своему старика, и материально. Литературные работы приносили ему в общем немного, потому что при своей болезненности он не мог работать систематически. К тому же Бёрне отличался некоторыми слабостями, стоившими довольно дорого: он любил книги, цветы, тонкое белье, привык к комфорту, – и поэтому вечно находился в денежных затруднениях. Нужно было, таким образом, много гражданского мужества, чтобы не поддаться на ту удочку, которую так ловко закинули для него отец и его «друг»

Меттерних.

В Штутгарте Бёрне на этот раз оставался недолго. Пребывание в Германии вообще становилось для него невыносимым. Страшный произвол, тяготевший над его родиной, ежедневные вести о новых «подвигах» следственных комиссий заставляли его неимоверно страдать. «Мое сердце разрывается на части, – пишет он все той же г-же Воль, – когда я думаю об этих волках – немецких министрах, которые немилосердно свирепствуют, и об этих баранах – немецких гражданах, которые терпеливо сносят это свирепствование…» – «Бежать надо из этой страны, бежать, как от чумы, – восклицает он в другой раз в порыве нестерпимой боли, – потому что тут нет выбора: нужно быть преследователем или преследуемым, волком или бараном». Бёрне серьезно начинал опасаться, чтобы и со своей стороны не поддаться всесокрушающей силе той апатии, в которой коснело все немецкое общество, чтобы и самому не сжиться с зараженным воздухом родины и перестать чувствовать всю оскорбительность ежедневно получаемых ударов. Его потянуло в Париж, который оставил в нем такие приятные воспоминания и где ему представлялась большая возможность отстаивать интересы своего отечества.

«Париж, – писал он еще в 1821 году, – кажется мне местом, наиболее подходящим к тому роду литературной деятельности, которому я посвятил себя, и вообще к свойству моего ума. Той творческой силы, которая сама создает для себя материал, во мне нет; я должен сперва иметь материал, а потом уже могу его обрабатывать довольно удачно. Или же, чтобы не быть несправедливым к самому себе, – я мог бы создавать и совершенно новые вещи, но во мне нет ни малейшей склонности к произведениям фантазии; меня шевелит, волнует только то, что уже живет, что существует вне меня. Я слишком немец, слишком философичен, слишком чувствителен и восприимчив, и поэтому Париж, помимо материала, сообщил бы мне еще и необходимую легкость мышления и письменного изложения. Например, предположите, что я занялся бы серьезно только одними моими „Весами“, – что же бы вышло из этого? Будь я одушевлен даже самой усердной устойчивостью, я все-таки не мог бы долго продолжать это издание в Германии. О чем прикажете говорить? О театре? Литературе? Нравах и обычаях? Все карикатурно, ни малейшего величия, никакого разнообразия – даже в скверном и смешном. И неужели же вечно бранить, вечно издеваться? Это утомляет наконец и пишущего, и читающего. Да и сама политика! В Германии невозможно составить себе в этом отношении правильный и ясный взгляд на вещи. Даже я, который все-таки

лучше многих других, даже я в политике – не что иное, как метафизик, которого всякий француз осмеял бы с головы до пят. Жизнь в Париже представляется мне благодетельною не только для моего ума, но и для сердца. Вследствие того, что я так впечатлителен и раздражителен, мне необходимо жить в среде, которая еще впечатлительнее и раздражительнее меня. Этот шум со всех сторон удерживает меня в равновесии. Я спокойнее всего в то время, когда вокруг меня происходит сильнейший гам и гул. Когда я в Германии, то живу только в Германии, да и то не в ней – я живу в Штутгарте, Мюнхене, Берлине. Когда же я в Париже, то вместе с тем – во всей Европе…»

Было еще одно обстоятельство, побуждавшее Бёрне поехать в Париж. Он условился с издателем Коттой доставлять ему очерки, картинки и описания из парижской жизни для его «Morgenblatt», за которые должен был получать ежегодный гонорар в шесть тысяч франков – сумму, довольно значительную по тому времени.

На этот раз Бёрне поехал не один, а в обществе своей подруги и ее сестры, г-жи Рейнганум, и потому меньше ощущал тоску по родине. Его прежняя раздражительность, как он и ожидал, улеглась. Вдали от Германии, не видя и не слыша на каждом шагу тех возмутительных вещей, которые портили ему кровь на родине, он чувствовал себя гораздо бодрее. Он работал много и усидчиво, и его бодрое настроение отражалось и в его произведениях. К этому двухлетнему пребыванию в Париже относятся его «Картины из парижской жизни», ряд статей, в которых, как в зеркале, ярко отражается вся пестрая, шумная жизнь этого города, его нравы, политические события. Благодаря своей остроумной, изящной форме, своей, можно сказать, художественной отделке, статьи эти читались в Германии нарасхват.

В 1824 году Бёрне снова вернулся в Германию, но по дороге захворал и принужден был остановиться в Гейдельберге. Болезнь оказалась очень серьезной, он стал харкать кровью, и врачи выражали опасение за его жизнь. К счастью, возле него была г-жа Воль, и благодаря ее самоотверженному уходу больной несколько поправился и переехал во Франкфурт. Но с тех пор припадки стали повторяться, и только несколько летних сезонов, проведенных на водах в Эмсе, снова поправили его пошатнувшееся здоровье.

В 1825 году мы застаем Бёрне в Штутгарте, где, несмотря на слабость, он усиленно работает. К этому времени относится его «Надгробное слово Жан-Полю Рихтеру», его любимому писателю, которого он никогда не уставал читать и перечитывать и влияние которого сказывалось отчасти и на его слоге. Впрочем, Жан-Поль

был для Бёрне образцом не в одном только стилистическом отношении, он особенно любил этого писателя за то, что «он не пел в дворцах вельмож, не забавлял своею лирою богачей, сидевших за пышной трапезой. Жан-Поль был поэтом низкорожденных, он был певцом бедных, и везде, где плакали огорченные, раздавались сладостные звуки его арфы».

Надо прочитать это надгробное слово целиком, чтобы понять ту бурю восторгов, какую оно вызвало в Германии. Хотя образ любимого писателя и является здесь несколько идеализированным, но сам панегирик представляет настоящий chef-d'oeuvre художественной прозы. Ни в одном из его произведений слог Бёрне не достигает такой художественной законченности, нигде нет такого богатства волшебных красок, таких ярких поэтических образов, такого чудного, гармонического языка, звучащего почти как размеренная речь.

Материальное положение Бёрне к этому времени значительно улучшилось. 19 апреля 1827 года умер старик Барух, и хотя в завещании Бёрне как блудный сын был несколько обойден сравнительно с другими детьми, тем не менее полученное наследство доставляло ему ежегодный доход в 1600 гульденов. Бёрне, таким образом, мог считать себя обеспеченным материально даже помимо литературного заработка.

В следующем году Бёрне решил осуществить давно уже лелеянную мечту – посетить Берлин. Ему хотелось еще раз увидеть тот город, где он провел самые поэтические годы своей юности, где он испытал свою первую и единственную любовь. С тех пор прошло уже 25 лет. Берлин разросся и приобрел еще большее значение. Правда, и здесь политическая жизнь была мертва, – но в умственной жизни господствовал все-таки свежий, свободный дух, и Бёрне интересно было взглянуть на город, оставивший в нем такие хорошие воспоминания, при новых обстоятельствах.

Прием, оказанный ему берлинцами, был самый радушный. Здесь талантливый публицист ценился более всего как театральный критик, и его статья о Зонтаг, от которой весь Берлин был без ума, до сих пор была еще у всех в памяти. Берлинские товарищи-писатели встретили его с распростертыми объятиями. Его таскали из салона в салон, ему говорили похвальные речи, прислушивались к каждому его слову, точно к изречению оракула. Особенно увивались вокруг него Роберт и Геринг – те самые, которые впоследствии не могли говорить о нем иначе, как с пеною на губах, и которых он так убийственно язвительно осмеял в своем «Салате из селедки» («Häringssalat»). «Бёрне! Зонтаг! Божественно!» – таков был постоянный рефрен,

который ему приходилось слышать на каждом шагу в Берлине. Бёрне сам юмористически описывает, в какой степени он был там популярен:

«Я жил в „Городе Риме“ и, несмотря на это, мне было страшно холодно. Но это был „Город Рим“ в Берлине, Unter den Linden. На другой день после моего приезда, утром, между десятью и двенадцатью часами и между 22—24 градусами, ко мне явились Роберт и Геринг в черном одеянии, шелковых чулках и вообще в очень праздничном виде. Геринг сказал: „О, Бёрне! Зонтаг! Божественно!“ – и, громко рыдая, упал мне на шею. Роберт же заметил взволнованным, но твердым голосом: „Оправьтесь, референдарий, мы должны идти. Народ жаждет увидеть вас, Бёрне“. Мы отправились. При выходе из гостиницы с нами повстречался один человек: мы остановились. Геринг, представляя его мне и меня ему, сказал: „Гофрат! Бёрне!“ Гофрат остолбенел и воскликнул: „Бёрне? Зонтаг! Божественно!“ И пошли дальше. Сделав еще десять шагов, встречаем другого человека. Роберт сказал: „Гофрат! Бёрне!“ Гофрат остолбенел и воскликнул: „Бёрне? Зонтаг! Божественно!“ Спустя несколько минут – новая встреча. Геринг сказал: „Гофрат! Бёрне!“ Гофрат остолбенел и воскликнул: „Бёрне? Зонтаг! Божественно!“ Таким образом, на одном бульваре Unter den Linden я был представлен 34 особам, которые все были гофраты… На обратном пути повторялось то же самое, но на этот раз попадались все юстицраты…»

Бёрне иронизирует здесь среди прочего над страстью немцев к титулам, – страстью, которую он особенно язвительно осмеял в упомянутой уже нами статье «Сумасшедший в гостинице Белого Лебедя». Так, цитируемая в этой статье «Почтовая газета», эта квинтэссенция тогдашней бесцветной и холопски раболепной печати, рассказывая об одной девушке-сироте в Вене, получившей наследство от одного умершего писателя, пришла в умиление – не оттого что бедная девушка не имела ни отца, ни матери, не оттого что благородный человек оставил ей свое состояние – нет, газета плакала оттого, что девушка была *«сиротой тайного советника»*. «Сирота тайного советника! – восклицает по этому поводу Бёрне. – Не заключается ли вся Германия, прошедшая и настоящая, в этих трех словах?» И не только в высших образованных классах, но и в самых низших слоях народа распространено было это обожание титулов. Даже служанка гостиницы, в которой остановился «сумасшедший», обращаясь к жене старшего носильщика пассажирских вещей, зовет ее не «г-жа такая-то», а непременно «г-жа обер-пост-коффер-трегерша». «Ах, – говорит Бёрне устами „сумасшедшего“ Генриха, – если бы я был

немецким государем, я сделал бы всех своих подданных счастливыми: я произвел бы их всех в гофраты, – по крайней мере в гофраты…»

Даже здесь, в Берлине, среди самых передовых кружков, державших в своих руках умственное знамя Германии, Бёрне воочию видел последствия той политической системы, против которой он боролся всю жизнь. Повсюду полнейшее равнодушие к общественным делам, какое-то тупоумие и бессознательное холопство перед сильными мира. В письмах к m-me Воль, которой он с величайшей подробностью передавал свои берлинские впечатления, Бёрне среди прочего говорит и о печальной перемене, подмеченной им в либеральной чете Варнхагенов, игравших тогда одну из самых выдающихся ролей в столице. «В воскресенье, – пишет он, – я обедал у Варнхагенов. Что за странное переселение душ произошло с ним и с его женою! Я, впрочем, уже заметил это, когда они были в последний раз во Франкфурте. Смущение в разговоре, боязливая сдержанность и – я мог бы сказать – известная боязнь смотреть мне прямо в лицо – все это сделалось теперь гораздо заметнее. Мы втроем сидели за столом, разговор шел какой-то рубленый, скучный и глупый, паузы были еще глупее, и в целой комнате был какой-то серный запах, точно тут разразилась гроза. У него и у нее были в высшей степени тоскливые дипломатические лица. После обеда я остался целый час с ним вдвоем. Если глупость выражалась прежде в молчании, то теперь она выражалась в разговоре…»

В общем, однако, Берлин и на этот раз понравился ему более других городов Германии. При всем недостатке свободного политического развития Пруссия одна преследовала истинно национальную политику, прусское правительство менее других смотрело на своих подданных как на существа, созданные только для удовлетворения его «bon plaisir» [2]. Из государей Бёрне всегда особенно симпатизировал Генриху IV и прусскому королю Фридриху Великому, которому поклонялся еще во времена своего студенчества. Бёрне так мало скрывал свою симпатию к Пруссии, что министр счел даже возможным предложить ему редактирование официальной театральной газеты, – но Бёрне отклонил это предложение по тем же соображениям, что и заигрывания Меттерниха.

В Берлине Бёрне снова увидел и свою первую любовь, m-me Герц. Ей теперь было уже 64 года, но она еще сохранила следы прежней красоты. Несмотря на свои лета, она по-прежнему вела необыкновенно деятельный образ жизни. Каждое утро с 9 до 12 часов она бесплатно давала уроки детям обедневших родителей. Бёрне бывал у нее ежедневно, как по желанию самой Герц, так и

по собственному побуждению. «Я иду теперь от m-me Герц, к которой заходил проститься, – пишет он 28 апреля. – Она подставила мне щеку для поцелуя. Когда 25 лет тому назад я уходил от нее в слезах, будучи не в состоянии от избытка чувств произнести ни слова, тогда мне было 17 лет, она в своей летней поре, я любил ее и мог поцеловать только ее руку».

На обратном пути из Берлина Бёрне заехал в Гамбург. Издательская фирма Кампе уже давно вела с ним переговоры об издании полного собрания его сочинений. Но Бёрне не сразу мог решиться на это. Ему казалось странным, что можно говорить серьезно, как о собрании *сочинений,* по поводу его статеек, которым он сам придавал лишь временное значение, как всем произведениям публицистического характера. Но убеждения друзей заставили его побороть свою скромность. К тому же, пересматривая все написанное им до сих пор, он не мог не заметить, что все статьи политического содержания нисколько не устарели, что «они так же новы и неистерты, как будто только вчера вышли из монетного двора мысли». Германия с тех пор, как он впервые выступил со своей политической проповедью, так мало поумнела, что лишний раз напомнить ей старые, но все еще неусвоенные истины, конечно, было далеко не лишним. Таким образом, договор с Кампе состоялся, и Бёрне тотчас же принялся за приведение в порядок своих статей, разбросанных по различным периодическим изданиям. Так как в Гамбурге было слишком шумно, то он переехал в Ганновер как в такое место, «где можно только или работать или умирать со скуки». Из тщательно отобранных лучших статей составилось шесть томов. Там, где Бёрне находил пробелы, он писал заново.

Но Бёрне не пришлось вполне насладиться тем громким одобрением, с каким собрание его сочинений было принято как публикой, так и периодической печатью, и которое лучше всего могло ему показать, какую сильную потребность чувствовали и та и другая в его бодром, зовущем к жизни и деятельности слове. Летом 1829 года его болезнь разыгралась с новой силой; припадки кровохарканья стали повторяться все чаще, и опять его спас только самоотверженный уход m-me Воль, при первом известии о его болезни поспешившей к нему в Кассель. Весною 1830 года он успел настолько собраться с силами, что мог отправиться в Соден для лечения местными водами. Была еще ранняя весна, на курорте не было ни одного приезжего, так что Бёрне имел полное право называть себя в шутку «соденским курфюрстом». В отдаленном местечке, куда почти не проникали вести из остального мира, скука была страшной, и Бёрне коротал время, сидя у окна и наблюдая за жизнью и нравами обитателей

скотного и птичьего двора, в которых он усматривал курьезные аналогии с человеческими нравами.

Ко времени пребывания Бёрне в Содене относится так называемый «Дневник», своего рода литературная смесь, где упомянутые юмористические наблюдения над чванными аристократическими гусями и кокетливыми индейками чередуются с разными автобиографическими воспоминаниями и остроумными замечаниями насчет постепенно съезжавшихся гостей курорта. Но самую интересную часть этого «Дневника» представляют рассуждения Бёрне о Шиллере и Гёте, вернее – *против* них. Рассуждения эти относятся не столько к литературно-художественной деятельности обоих корифеев немецкой поэзии, сколько к их общественной деятельности и личному характеру, насколько он выясняется в только что прочитанной Бёрне переписке обоих друзей.

К Шиллеру Бёрне относится еще довольно снисходительно, хотя и его упрекает в том, что он прячется от насилия в туманных облаках и там забывает о людях, которым хотел принести спасение. Но что касается Гёте, то об этом человеке, еще при жизни возведенном в божество, он положительно не может говорить в спокойном тоне. Что Бёрне не понимал Гёте – в этом, в сущности, нет ничего удивительного. Никогда еще природа не создавала двух людей с более противоположными натурами. Бёрне требовал от художника, чтобы прежде чем вступать в храм искусства, он полюбил свободу и сам сделался свободным; Гёте достаточно было того, чтобы художник создавал художественные произведения. Бёрне не знал ничего более прекрасного, чем жизнь и свобода; для Гёте не было ничего выше искусства. Первый был весь чувство, страсть; второй – воплощенное спокойствие; первый брал на себя роль обвинителя, второй – судьи. Бёрне охотно отдал бы «Фауста» и другие дивные произведения Гёте за одно его авторитетное слово в пользу народа, – тогда как этот мировой гений, занятый лишь высшими отвлеченными интересами, никогда не удостаивался задуматься о нуждах обыкновенных смертных. Бёрне, пылкому, полному жизни, чуткому ко всякой несправедливости и насилию, великий художник и мыслитель Гёте с его олимпийским бесстрастием должен был казаться самым тупым, бессердечным эгоистом, которого, по собственному признанию Бёрне, он должен был возненавидеть с тех пор, как только начал чувствовать. И он действительно ненавидел его – со всею страстностью, с какою человек, фанатически преданный своей идее, способен ненавидеть того, кто мог бы и должен был бы более всех содействовать осуществлению этой идеи, но почему-либо

уклоняется от своей естественной обязанности.

Разбирая переписку Гёте с Беттиной, – переписку, в которой сухость и педантичность первого особенно резко оттеняется контрастом с по-детски свежей любящей натурой этого «ребенка», Бёрне весьма удачно взял эпиграфом стихи самого Гёте:

Ich dich ehren? wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Thränen gestillet
Je des Geängstigten?
(Мне чтить тебя? за что?
Облегчил ли ты когда скорби угнетенного?
Унял ли ты когда слезы страдающего?)

Этими словами, с которыми мятежный титан Прометей обращается к Зевсу, Гёте, по мнению Бёрне, произносит приговор самому себе. В самом деле, что же сделал он сам, этот Зевс на Парнасе немецких поэтов, к словам которого с благоговением прислушивались вельможи и государи и который имел возможность своим заступничеством осушить слезы не одной тысяче «угнетенных и страдающих»?

«Гёте, – говорит Бёрне в своем „Дневнике“, – мог бы быть Геркулесом, мог бы очищать свое отечество от большой грязи, но он срывал только золотые яблоки Гесперидских садов, держал их для себя и потом садился у ног Омфалы и не вставал с этого места. Какое различие с жизнью и действиями великих поэтов и ораторов Италии, Франции и Англии! Данте, воин, государственный человек, даже дипломат, которого могущественные государи любили и ненавидели, защищали и преследовали, не обращал внимания на любовь и ненависть, благосклонность и коварство и не переставал петь и бороться за права человека. Монтескье был сановник и, несмотря на это, писал свои „Персидские письма“, в которых осмеивал двор, и свой „Дух законов“, в котором являлся судьею преступлений Франции. Вольтер был придворный, но вельможам он расточал только льстивые слова и никогда не приносил им в жертву своего образа мыслей. Он носил высокий парик, тонкие манжеты, шелковые кафтаны и шелковые чулки, но смело входил в грязную лужу, как только слышал крик гонимого человека, звавшего на помощь, и дворянскими руками снимал с виселицы невинно повешенных. Руссо был бедный и беспомощный нищий; но ни нежная заботливость, ни дружба, ни знатность не могли соблазнить его; он остался свободным и гордым и умер нищим.

Мильтон не забывал за своими стихотворными занятиями бедственного положения своих сограждан и действовал в пользу права и свободы. Точно так же поступали Свифт, Байрон, точно так же поступает Томас Мур. А что делал и делает Гёте? Гражданин вольного города, он помнит только, что он – внук деревенского старосты, который во время коронации императора служил камердинером. Сын почтенных родителей, он пришел однажды в восторг, когда еще в детстве один уличный мальчишка обругал его незаконнорожденным, и с фантазией будущего поэта начал мечтать о том, что он, вероятно, сын какого-нибудь принца. Таким он был, таким и остался. Ни разу не произнес он ни малейшего словечка в пользу своего народа, – он, который по своему положению, делавшему его неприкосновенным и во время высшей славы, и в преклонной старости имел бы право говорить то, чего не смел бы сказать никто другой. Еще несколько лет тому назад он просил „высокие и высшие правительства“ немецкого союза не допускать контрфакции его сочинений. Но ему не пришло в голову хлопотать о таком заступничестве и для всех немецких писателей. Я бы лучше позволил, чтобы меня, как школьника, били линейкой по рукам, чем согласился бы употреблять эти руки на то, чтобы протягивать их для выпрашивания защиты *моего* и *только моего* права!..»

Конечно, суждения Бёрне о Гёте очень односторонни, эпитеты, которые он расточает ему, слишком резки. В своей страстной нетерпимости он увлекается до того, что творца «Эгмонта» и «Фауста» называет человеком, в продолжение 50 лет счастливо подделывавшимся под почерк гения и не уличенным в этом, «рифмованным рабом» (как Гегеля он называет «рабом нерифмованным»), а в «Парижских письмах», разбирая дневник Гёте, говорит, что последний – «бельмо на немецком глазу», что он обладает *задерживающей* силой в высшей степени и тому подобное. Но как ни пристрастны отзывы Бёрне о Гёте, несомненно, что он подметил в его сочинениях такую сторону, на какую никто до этого не обращал внимания, а если и обратил, то не имел достаточно мужества, чтоб высказать свое мнение вслух.

Действительно, каким жалким филистером должен нам показаться Гёте с той стороны, с которой освещает его Бёрне. Это «объективное мышление» (Sachdenklichkeit), которым так восхищались придворные Гёте, по словам Бёрне, представляет в сущности только доказательство «слабого мышления» (Schwachdenklichkeit). Разве не признак своего рода ограниченности ума, что этот мировой гений совершенно не понимал французской революции, которую называл *«делом, вызывающим досаду»* (!) и которая послужила для него только

поводом написать либретто для оперы. Величавый ход этой эпохи, полной потрясающих событий, он передает своим веймарским господам в виде истории с горшком молока и разбитым носом графского ребенка, а великие вооружения старой Европы против молодой Франции дали ему повод написать лишь несколько эпиграмм! В эпоху наполеоновского владычества, как с гордостью сознается Гёте в своем дневнике, он несколько лет сряду не читал никаких газет, а в 1813 году, в то время, когда вся Германия была охвачена патриотическим возбуждением, он, испуганный военными событиями, искал мира и спокойствия и для этого посвятил себя серьезному изучению китайского государства, о волонтерах же произнес краткий приговор: «ведут себя неприлично». Вообще, читая выписки из дневника Гёте, приводимые Бёрне, невольно вспоминаешь слова Пушкина, что «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», тот часто бывает таким же тщеславным, мелочным, близоруким человеком, как и любой из обыкновенных смертных. Великий поэт был, конечно, настоящим олимпийцем, когда он создавал «Фауста», но в своем дневнике он является по большей части лишь тайным советником фон Гёте, которому необыкновенно льстит то, что в Карлсбаде герцогиня Сольмс оказала ему «милостивое благоволение».

Мы сочли нужным остановиться несколько подробнее на отношениях Бёрне к Гёте именно потому, что эти отношения проливают яркий свет на характер и направление самого Бёрне, выясняют нам его взгляд на искусство, от которого он требует служения интересам человечества, а не одной идее красоты. Объективного отношения к природе и людям Бёрне не понимал и сам не был способен к нему. Вот почему он никогда не написал ни одной цельной художественной вещи – такой, как роман или новелла, – несмотря на то что недостатка в фантазии у него не было. Единственная попытка его в этом роде, «Роман», в котором он хотел изобразить положение евреев и предрассудки христианского общества по отношению к ним, так и осталась неоконченной.

Глава VI

Весть об июльском перевороте и ее действие на Бёрне. – Отъезд в Париж. – «Парижские письма», возникновение, характер и содержание их. – Успех «Писем». – Поездка в Германию и Гамбахское торжество. – Отношение печати. – Нападки рецензентов и полемика с ними. – Обвинение в отсутствии патриотизма. – В чем заключается политическое profession de foi Бёрне. – Идеализм Бёрне.

Пребывание в Содене значительно поправило здоровье Бёрне. В сущности, ему помогали не столько воды курорта, сколько то непривычное спокойствие, каким он здесь наслаждался. Тихая, почти растительная жизнь на лоне природы, маленькие развлечения в виде общих parties de plaisir[3] по окрестностям Содена, скудость известий, доходивших сюда из большого света, – все это действовало благотворно на измученные нервы человека, который, помимо своих физических недугов, был болен еще и другою подтачивавшей его болезнью – любовью к страдающему отечеству; который писал не как другие – чернилами и словами, – а «кровью своего сердца и соком своих нервов». Неутомимый борец почувствовал наконец потребность в отдыхе. При всей страстности его полемики с Гёте от страниц соденского дневника веет какой-то усталостью, тихой и трогательной грустью человека, перестающего верить – не в свои заветные идеалы, но в возможность увидеть собственными глазами их осуществление в действительности, жаждущего уйти на время от этой действительности, забыться, отдохнуть…

Но вот в это тихое, идиллическое прозябание выздоравливающего человека внезапно, точно молния, ударила весть об июльском перевороте во Франции.

На Бёрне весть о событиях во Франции подействовала лучше, чем всевозможные целебные источники. Прежней грусти и усталости как не бывало. Он словно сразу выздоровел. Тысячи радужных иллюзий, тысячи восторженных надежд снова зашевелились в его груди. Знакомые почти не узнавали его, до того он выглядел помолодевшим, обновленным. Чтобы получать более свежие известия о ходе дела, он поспешил во Франкфурт, где целые дни проводил в кабинетах для чтения, читая и прислушиваясь к толкам других. Но он не мог долго оставаться в бездействии, быть только издали зрителем происходящих великих событий. И он поспешил в столицу Франции.

В Париже первое время его радовало, как ребенка, все, что он видел. Из газет к тому же он узнавал о беспорядках в Гамбурге, в

Брауншвейге, о возмущении в Дрездене… Но его восторженное настроение продолжалось недолго. Волнения в Германии оказались ничтожными, легко потушенными вспышками, да и сама Франция в конце концов не могла не вызвать в нем горького чувства обманутого ожидания. Чем долее он жил в Париже, чем ближе знакомился с результатами, достигнутыми революцией, тем чаще у него являлась мысль, что гора родила мышь, тем естественнее являлось и заключение, что Франция не в состоянии будет осуществить тех надежд, какие возлагали на нее свободолюбивые элементы в других странах. Да и как могла она, в самом деле, браться за освобождение других народов, когда и у себя дома она не в состоянии была водворить свободу на прочных основаниях. Ровно через два месяца после своего приезда, 17 ноября 1830 года, Бёрне в письме к m-me Воль высказывает по поводу политики нового правительства такие мысли, которые ясно показывают, что рассудок снова одержал у него верх над чувством и что положение вещей не представляется ему уже в прежнем розовом свете. «Удивительное дело, – говорит он, – это июльское правительство едва успело вылупиться из яйца, еще не совсем очистилось от желтка, – а уже покрикивает, как старый петух, и расхаживает так гордо и самоуверенно, что и не подходи к нему!» Буржуазное большинство палаты в своем отношении к простому народу явно обнаруживало стремление образовать из себя новую (аристократию – денежную, взамен аристократии дворянства и духовенства, и Бёрне уже со своей прежней Прозорливостью видит в этой замене только залог для новых ужасов, для новых революций.

Но, как ни велико было разочарование Бёрне, всю свою досаду, всю горечь обманутых надежд он вымещал только на Луи Филиппе и его министрах. Франция по-прежнему пользовалась его симпатиями. Бёрне понимал, что при всех своих недостатках она все-таки стоит гораздо выше других наций по своему политическому развитию, он непоколебимо верил в добрые задатки французского народа, в его «героизм», при всем его «актерстве» и недостатке выдержки, и надеялся, что рано или поздно свобода снова расцветет на берегах Сены. Он уже и тогда предсказывал в скором времени новую революцию, – предсказание, сбывшееся действительно лишь 18 лет спустя.

Состояние Франции после июльского переворота, рассказ о ежедневных политических событиях со времени его приезда в Париж и собственные соображения по поводу их составляют содержание значительной части тех знаменитых «Писем из Парижа» (первоначально имевших частный характер, так как предназначались они только для г-жи Воль), которые доставили

талантливому немецкому публицисту громкую европейскую известность. Рядом с политическими рассуждениями мы находим здесь и глубоко верные в психологическом отношении рассуждения об общих свойствах французской нации, мастерские характеристики людей и нравов, обзор литературы, театральные рецензии. Словом, перед нами развертывается вся жизнь тогдашнего Парижа, во всех ее проявлениях.

Но политическое состояние Франции не поглощало всего внимания Бёрне. Живя в Париже, отмечая каждое биение его лихорадочного пульса, он в то же время чутко прислушивался и к отголоскам, вызванным в других странах громом июльской революции. Недаром говорил он всегда, что, живя в Париже, живешь во всей Европе. «В моем тесном сердце, – говорит он по поводу движения в Италии, – как ни горячо оно, набралась такая высокая гора желаний, что вечный снег лежал на них, и я думал, что он никогда не растает. Но теперь эти желания тают и стекают со своих высот в виде надежд. Возможно ли в настоящее время думать о чем-нибудь, кроме борьбы за свободу или против нее?» Мало-помалу эти надежды разрастаются до того, что в воображении он уже видит ненавистную Австрию поглощенною нахлынувшим на нее потопом и, говоря о свободе Италии, Испании и Португалии как о совершившемся факте, вздыхает только о том, что его дорогая родина, его собственный народ – «народ Лютера», как он его называет – по-прежнему томится в темнице. «Ах, Лютер! – восклицает он с горечью, – какими несчастными сделал он нас! Он отнял у нас сердце и дал нам логику; он лишил нас верования и снабдил знанием; он выучил нас арифметическим соображениям и взял у нас отважную энергию, не умеющую рассчитывать и вычислять. Он выплатил нам свободу за три столетия до истечения срока платежа, и мошеннический учет поглотил весь капитал. И то немногое, что получили мы от него, заплатил он, как истый немецкий книгопродавец, не деньгами, а книгами, – и когда теперь, видя, как уплачивают другим народам, мы спрашиваем: „Где наша свобода?“, – нам отвечают: „Вы уже давно имеете ее; вот она – в душеспасительных Лютеровых книгах!“..»

Мы нарочно привели эту несколько длинную тираду против Лютера, потому что в ней, сквозь ее шутливый пафос, проглядывает истинный взгляд Бёрне на Реформацию, – взгляд, который он впоследствии высказал совершенно определенно. По мнению Бёрне, Реформации Германия обязана величайшим злом, которым она страдает, – своим филистерством. Реформация ограничила самую существенную часть католицизма – все возвышенное, идеальное, поэтическое, не коснувшись его

существа, – и превратила некогда веселый, остроумный, «младенчески безмятежный» немецкий народ в печальных, неуклюжих и скучных филистеров. Вообще, взгляды Бёрне на роль протестантизма в политическом развитии Европы в высшей степени оригинальны, хотя и страдают односторонностью.[4] К сожалению, место не позволяет нам привести их подробнее.

И постоянно, о чем бы ни говорил Бёрне, какое бы явление в общественной жизни других стран он ни обсуждал, его мысль незаметно переносится к Германии, и он спрашивает себя, какие последствия оно может иметь для его родины. Каждое новое поражение либеральной партии в этой последней действовало на него, как самое острое личное горе, каждая новая весть о злоупотреблениях деспотизма, каждый новый факт, свидетельствовавший о близорукости и апатии немцев, причиняли ему жгучее страдание, и он спешил облегчить свое переполненное сердце в письмах к своему неизменному другу, – письмах, в которых эта сдерживаемая боль выражалась едкими, злобными насмешками и бурными взрывами негодования.

Из этих-то частных, интимных писем к m-me Воль и составилась первая серия «Парижских писем». Произошло это вот каким образом. Бёрне нужно было доставить Кампе несколько печатных листов для дополнения 8-го тома собрания его сочинений, и ему пришло в голову воспользоваться своею перепиской, чтобы извлечь из нее материал для нескольких картинок из парижской жизни, вроде тех, какие он писал несколько лет тому назад. Но m-me Воль, которую он попросил отобрать подходящие письма, нашла, что почти все написанное им по ее адресу прямо годится в печать, и настояла на издании всей переписки. Таким образом, первая серия «Парижских писем», составившая 9-й и 10-й тома в издании Кампе, появилась в свет совершенно случайно, и только последующие выпуски уже с самого начала предназначались для печати.

Подробно передавать содержание этих «Писем», составивших шесть томов в издании сочинений Бёрне и обнимающих трехлетний период времени, мы не имеем здесь никакой возможности. Тут нет ничего цельного, законченного. Это, как мы уже сказали, ряд быстро сменяющихся картин из политической и литературной жизни Франции и отчасти других стран, набросанных без всякой системы, в том порядке, в каком они овладевали вниманием автора, со всею непосредственностью вызванных ими чувств, – картин, чередующихся с личными воспоминаниями, лирическими отступлениями и полемическими кампаниями против литературных врагов. Перед нами, в сущности, что-то среднее между дневником и газетой, нечто,

соединяющее в себе все прелести и недостатки подобного рода произведений. Рядом с верными известиями попадаются и ложные, рядом с трезвым отношением к фактам – неумеренная страстность при обсуждении их; быстрые переходы от надежд к разочарованию, предсказания, которые опровергаются на следующий же день, выводы и замечания, продиктованные настроением минуты, настроением человека, который не выдерживает больше своей роли наблюдателя, который хотел бы забежать вперед и криком и свистом погнать слишком медленно подвигающиеся события. Пока речь идет о Франции, автор способен еще говорить в сдержанном тоне, но чуть речь заходит о Германии, всякое спокойствие исчезает. Он не хочет больше действовать логически, он обращается только к сердцу, к чувствам читателей. Он просит, умоляет, насмехается, призывает к борьбе и клянется в мщении. Вся гамма человеческих чувств – любовь, ненависть, гнев, негодование, отчаяние – раздается со страниц «Писем», и эта необыкновенная субъективность в связи со своеобразной красотой и силой слога, с выпуклой образностью языка, даже теперь действует увлекательно на читателя. Как же должны были действовать «Письма» в то время, когда события, о которых в них говорилось, переживались всеми, когда каждый крик из наболевшей груди автора заставлял звучать соответственную струну в душе его читателей!

И действительно, успех «Парижских писем» был неслыханным, колоссальным. Как содержание, так и форма этого произведения были так новы, так непохожи на все, что выходило до сих пор, что немецкая публика ахнула от изумления. Такой простой, безыскусной и в то же время оригинальной манеры, такого бурного, пламенного красноречия, такой неустрашимости в суждениях о лицах и событиях немцы не встречали уже со времен Лютера. Как бы ни увлекался Бёрне, – безграничная любовь к отечеству, к свободе и справедливости, непримиримая ненависть ко лжи и насилию звучали в каждой строке его, и читателю не оставалось выбора: он должен был или полюбить автора, или возненавидеть его. Первое время после появления «Писем» в Германии не было человека популярнее Бёрне. Не было такого уголка, куда не проникли бы его сочинения, несмотря на все запреты и конфискации.

Да и не в одной только Германии «Письма» производили сенсацию. В Англии и Франции они читались нарасхват, комментировались и расхваливались в печати. Газета «Constitutionnel» выразилась о них: «Это – nec plus ultra немецкой либеральной печати. Еще никто не писал так смело. Это олицетворенная отвага».

Но если велико было число почитателей Бёрне, то и противников оказалось немало. В числе последних были не только реакционеры, но и многие из так называемых умеренных либералов. Резкий тон «Писем», часто повторяющийся в них мотив, что прошла пора теории, что теперь пора практики, испугали их не на шутку, и они спешили заявлять печатно, что нисколько не солидарны с таким отчаянным «демагогом». Даже злополучный издатель Кампе, которого в течение одной недели четырежды привлекали к суду, причем конфисковали весь наличный запас экземпляров (это не помешало ему, впрочем, сделать на издании «Парижских писем» хороший бизнес), – и тот счел нужным выразить автору свое сожаление по поводу его увлечения: «Странно возбуждены в настоящую минуту Вашими письмами все элементы, – писал он Бёрне. – Враждебная партия подняла голову… Я не могу скрыть от Вас впечатления, произведенного этими письмами на *многих из лучших наших людей;* они искренне сожалеют, что Вы увлеклись до такой крайней степени, перестали быть зрителем и сами сделались актером. Этим Вы утратили значительную часть Вашей заслуженной славы, возвратить которую Вам будет нелегко. Таков общий голос, раздающийся со всех сторон…»

Но Бёрне только насмешливо пожимал плечами в ответ на подобные сожаления. «Как этот человек знает меня! – писал он по поводу заявления Кампе. – Я никогда не писал для славы; писать меня заставляло убеждение. Нравлюсь ли я или не нравлюсь – какое мне до этого дело? Разве я желаю нравиться? Я не кондитер, а аптекарь. Правда, что я оставил место, которое занимал как зритель и стал в ряды действующих лиц, – но разве не пришла для меня пора отказаться от веселой жизни театрального рецензента? Вы видите, как сильно я действую – и преимущественно на моих противников. Я взрыл затвердевшую немецкую почву; пусть теперь каждый проводит на ней, подобно мне, свою борозду; о семени позаботится Господь Бог…»

Когда после издания первой части «Парижских писем» Бёрне снова поехал в Германию, он мог убедиться собственными глазами, как сильно он «взрыхлил немецкую почву». Поездка эта была для него нескончаемым рядом торжеств. Друзья сначала умоляли его не ехать, опасаясь за его личную безопасность. Бёрне и сам был уверен, что его арестуют, но это соображение не могло его удержать. Он рассчитывал, что если поедет в Баденское герцогство или Рейнскую Баварию, то его будут судить судом присяжных, а при гласном судопроизводстве он не только надеялся быть оправданным, но полагал еще принести пользу самому делу.

Действительность, оказалось, превзошла все его ожидания. На Гамбахских празднествах, куда съехались либералы всей Германии, в Бадене, Фрейбурге и других городах, в которых реакционная партия была совершенно подавлена, Бёрне был встречен с настоящим энтузиазмом, так что никто не посмел и думать об аресте такого популярного, писателя. Скромный, никогда не мечтавший о славе Бёрне был совершенно растерян при виде тех оваций, какие устраивались ему во время поездки. Он и не подозревал раньше, что пользуется таким горячим сочувствием не только со стороны отдельных лиц, но и целых масс. Во время Гамбахских празднеств у него перебывали все съехавшиеся туда. Когда он шел по улицам, из гостиниц, из проезжавших мимо экипажей доносились крики: «Да здравствует Бёрне, автор „Парижских писем“!..» Повсюду знакомые и незнакомые бросались ему на шею и со слезами на глазах говорили, что этим патриотическим движением Германия исключительно обязана ему, что все остальные – только его подражатели. И Бёрне, который с радостным чувством, – конечно, не имевшим ничего общего с чувством удовлетворенного самолюбия, – передает о выпавших на его долю овациях, прибавляет с некоторым торжеством, как бы в ответ на обвинения, направленные из противоположного лагеря: «Что же теперь скажут мои рецензенты, объявляющие меня скверным немцем? Общественное мнение не судит фальшиво».

Странный контраст с этим энтузиазмом, вызванным «Парижскими письмами» в лучшей части немецкого общества, представляют те безобразные выходки, та пошлая брань, с какою накинулись на них в печати некоторые наемные и добровольно лакейничавшие рецензенты. И в чем только не обвиняли они автора, каких только грязных инсинуаций не пускали они в ход, чтобы уронить его в глазах немецкой публики. Что еврейское происхождение Бёрне фигурировало в этих нападках во всевозможных видах как самое убийственное орудие против него – это, конечно, понятно само собой. Бёрне сам приводит одну выдержку из штутгартской официальной газеты, прекрасно характеризующую полемические приемы его противников. «В каждой строке (говорит изящная аристократическая газета по поводу „Парижских писем“) обнаруживается пустой жид, для которого нет ничего священного, бессердечный насмешник, издевающийся над духом и характером *немецкой нации,* жалкий болтун, пускающий слова на ветер, желающий *нравиться массе* и льстить страстям, которые теперь в моде, а в сущности сам не знающий, чего он желает. Можно смело сказать, что этой книгой Бёрне сам вполне заклеймил себя; *с этих пор ни один немец,*

дорожащий честью своей страны, не допустит его в свое общество».

«Мой милый друг, – говорит по этому поводу Бёрне, обращаясь с язвительной иронией к изящному штутгартскому рецензенту, назвавшему его, в числе других эпитетов, „жалким грязным насекомым“, – вы одряхлели от старости и сами не знаете, что говорите. По-вашему, я издеваюсь над немецкой *нацией,* чтобы нравиться *массе.* Да что же такое нация, если не масса? Можно ли издеваться над кем-нибудь, когда хочешь ему же понравиться?..»

В таком же духе велась кампания против Бёрне другими рецензентами – Мейером, Вурмом, Герингом, Робертом и tutti quanti. Все эти господа, которые в Берлине так увивались вокруг автора рецензии о Зонтаг и умильно заглядывали ему в глаза, теперь, испугавшись, что их сочтут солидарными с автором «Парижских писем», подняли на него настоящий собачий лай, наперебой друг перед другом забрасывали его грязью.

Бёрне, однако, не отнесся к лаю литературных мосек с величавым презрением слона. Он, конечно, не чувствовал себя действительно оскорбленным в своем достоинстве их жалкими нападками, но в интересах дела он не считал себя вправе оставлять их без ответа. «Когда враги свободы лежат в грязи, – рассуждал он, – неужели я не должен подходить к ним близко для нападения из опасения запачкать сапоги? Неужели, выходя на битву и видя перед собою глупого облома, не знающего, за кого и за что он сражается, следует щадить его за глупость? Ведь это же не мешает ему делать свое дело и пуля его попадает так же хорошо, как если бы он стрелял сознательно». К тому же Бёрне знал, что не все осознают так ясно, как он, неуклюжесть, грубость и пошлость его противников. Но он не стал метать на них громы негодования – его месть была гораздо страшнее: он сделал их смешными. В статье, озаглавленной «Häringssalat» («Салат из селедки» – непереводимая игра слов, так как имя одного из его противников, Геринга, значит «селедка»), он накрошил всех своих рецензентов в одно блюдо и облил их таким острым соусом своей иронии, что они никогда уже не могли оправиться от нанесенного им поражения. Лексикон ругательных слов в немецком языке, размещенных Бёрне в конце статьи в алфавитном порядке как шутливое доказательство того, что он сам сумел бы ругаться лучше всех своих противников вместе взятых, одна идея этого лексикона – это верх полемического остроумия.

Что пошлые бездарные писаки в порыве бессильной зависти набрасываются на все честное, даровитое, смелое как на контраст, оттеняющий их собственное ничтожество, – это явление такое

заурядное, что на нем не стоило бы и останавливаться. Но странно то, что часть их обвинений повторялась и некоторыми честными, но близорукими писателями, которые не только не разделяли политических взглядов Бёрне, но, по-видимому, были совершенно искренне убеждены в том, что его благородное, но слишком резко выражаемое негодование на «ослиную» выносливость немцев происходит от его нелюбви к Германии, а эту нелюбовь, в свою очередь, объясняли его еврейским происхождением. Упрек в недостатке у Бёрне истинного патриотизма мы находим, между прочим, у Гервинуса в его «Истории литературы», а в новейшее время – у Треичке в третьем томе его «Истории немецкого народа» (у последнего, впрочем, враждебное отношение к Бёрне вполне понятно, так как Треичке, как известно, является одним из представителей новейшего немецкого антисемитизма).

Насколько были основательны политические мнения Бёрне, – мы здесь, конечно, обсуждать не можем… Не следует только забывать, что если мы можем в настоящее время смотреть на его крайности и увлечения с некоторым чувством превосходства, то этой сравнительно большею зрелостью мы обязаны, между прочим, и опыту, вынесенному из ошибок его и его единомышленников. Что же касается обвинения Бёрне в отсутствии патриотизма, то его можно объяснить лишь близорукостью, граничащей со слепотой. Утверждать, что этот неутомимый борец, до последнего дыхания отстаивавший свободу и честь Германии, не любил ее, даже ненавидел ее!.. Можно ли представить себе что-нибудь нелепее подобного обвинения! Да именно потому, что Бёрне так горячо любил свою родину, именно потому, что он так близко принимал к сердцу ее унижение, ее отсталость от других стран, он так резко, так несдержанно выражал свое осуждение. Он считал немцев слишком терпеливыми, слишком флегматичными, чтобы можно было преодолеть их инертность одним легким прикосновением. «Не надо ни на минуту переставать злить немцев, только это одно может помочь», – говорил он, соглашаясь с мнением Шиллера, что «немцам надо говорить правду как можно резче». «Но, – прибавляет он, – надо злить их не поодиночке; это было бы несправедливо, потому что между ними есть и хорошие люди, – а злить всю массу. Надо разжигать их национальную злобу, если уж нельзя воодушевить их для национальной радости, и, может быть, первая будет иметь последствием вторую. Надо день и ночь кричать им: вы не нация, вы никуда не годитесь как нация. С ними нельзя говорить разумно, а следует говорить неразумно, страстно, потому что им недостает не разума, а безрассудства,

страстности, без которых разум – безногое существо…» Но критики проглядели эти слова, как и многое другое, – одни по близорукости, другие намеренно. Смотрите, говорили они, как он постоянно ругает и унижает Германию и какие лестные эпитеты, какие выражения нежности он находит для Франции. Такой человек не может быть патриотом!.. Как будто истинный патриотизм заключается только в том, чтобы хвалить все свое и ругать чужое! Во французах Бёрне ценил лишь те стороны, то мужество, которых недоставало Германии, но вся его любовь, самые пылкие симпатии его сердца принадлежали последней. Он любил Францию, как выражается один биограф, в интересах Германии, – а его упрекали в том, что он нарочно унижает свое отечество, чтобы возвеличить Францию!

«Вы говорите, – писал Бёрне в ответ на подобное обвинение со страниц „Allgemeine Zeitung“, – что французы представляются мне исполинами, а немцев я ставлю рядом с ними в виде карликов. Смеяться или плакать прикажете мне в ответ на это замечание? С кем тут спорить? Что возражать? Тупоумие и непонимание – два близнеца, и отличить их друг от друга очень трудно для того, кто не отец их. Где же это вы, умные мои головы, вычитали, что я изумляюсь французам, как исполинам, а немцев презираю, как карликов? Восхваляя богатство скверного банкира, здоровье глупого поселянина, ученость геттингенского профессора и признавая за счастье обладать такими сокровищами, я разве заявляю этим, что эти люди счастливее меня и что мне хотелось бы поменяться с ними? *Мне* меняться *с ними?* Да черт побери их всех троих! Я желаю обладать только их достоинствами, потому что сам не наделен этими последними. *Мне* эти достоинства послужили бы к добру; но тем, которые обладают ими, они не приносят никакой пользы, потому что это единственные качества, которых они *не* лишены. Когда я говорю немцам: „Старайтесь, чтобы ваше сердце сделалось достаточно сильным для вашего духа, ваш язык – достаточно пламенным для вашего сердца, ваша рука – достаточно быстрою для вашего языка; присвойте себе преимущества французов – и вы сделаетесь первым народом в мире“, – разве этими словами я объявляю, что немцы – карлики, а французы – исполины? Нет, приди ко мне какой-нибудь бог и скажи мне: „Я превращу тебя со всеми твоими мыслями и чувствами, воспоминаниями и надеждами во француза“, – я отвечал бы ему: „Покорно благодарю, о бессмертный! Я хочу остаться немцем со всеми его недостатками и пороками, – немцем с его бесплодною ученостью, его смирением, его высокомерием, его гофратами, его филистерами…“ Как, и его филистерами? Ну да, и с его

филистерами…»

Да, Бёрне любил свое немецкое отечество глубоко и искренне, – как любили свой народ ветхозаветные пророки, с таким пламенным красноречием бичевавшие его недостатки, и именно в этой любви заключается вся сила его, вся тайна его громадного воздействия на современное общество. Вспыльчивыми, неумеренными в выражениях бывают только люди искренние, способные к глубокому чувству. Если бы Бёрне не любил Германии, если бы он – как утверждали некоторые из его яростных противников – хотел отомстить ей за перенесенные мальчиком Барухом унижения, он не ругал бы ее, навлекая на себя гонения и ненависть всех немецких гофратов и филистеров. Нет, он спокойно благодушествовал бы во Франкфурте, Вене или другом городе, на меттерниховские средства издавал бы газету, полную «патриотических» восхвалений великой немецкой нации, и в то же время злорадно наслаждался бы тем, что Германия все более и более превращается в «гетто Европы» и что австрийцы и пруссаки заставляют высокородный сенат и гордых патрициев вольного города Франкфурта ломать перед ними шапку с такой же поспешностью и смирением, с какими в недавнее время должны были проделывать то же самое злополучные парии «еврейской» улицы.

И что бы ни говорили эти псевдопатриотические писатели Германии, до сих пор не забывающие метрического свидетельства Бёрне, немецкий народ с самого начала понял и признал его своим и произносит его имя наряду с именем другого, родственного ему по происхождению писателя – Гейне – с такой же гордостью, как имена знаменитейших своих сынов, в жилах которых течет самая чистая тевтонская кровь.

* * *

После всего сказанного нами до сих пор о литературно-политической деятельности Бёрне, нам кажется нелишним остановиться несколько подробнее на выяснении одного вопроса, который может быть предложен нам читателем. Мы не раз говорили, что идеалом Бёрне, заветной целью, направлявшей его деятельность, была политическая свобода. Но, спросит нас, может быть, читатель, – как же рисовал себе Бёрне эту свободу, какого политического устройства желал он для Германии? Была ли для него свобода таким же туманным, расплывчатым понятием, как и для большинства немецких идеалистов, воспевавших ее в стихах и прозе и не делавших даже попытки свести свою богиню на

землю, или, может быть, Бёрне принадлежал к числу тех крайних демагогов, которые под знаменем свободы стремятся разрушить ненормальный старый строй в надежде, что на месте разрушенного старого само собой вырастет лучшее новое?

Хотя Бёрне сам никогда не излагал своего политического profession de foi[5] в специальных статьях с более или менее научной окраской, но для всякого, кто знаком с сочинениями этого необыкновенно искреннего писателя, не может быть никакого сомнения в том, каковы были его политические идеалы. Не входя в частности, можно только сказать, что свобода, по мнению Бёрне, не есть нечто положительное; она заключается лишь в отсутствии неволи, и, проповедуя первую, он, очевидно, добивался лишь уничтожения той неволи, в которой томилось немецкое общество. Он хотел, чтобы немцы перестали быть раздробленными между 36-ю правителями, чтобы Германия перестала быть только «географическим термином». Он хотел, чтобы немцам позволили говорить о своих делах, о своих нуждах, стремлениях и чувствах и чтобы правительство принимало во внимание голос общественного мнения. Бёрне хотел также, чтобы были уничтожены устарелые формы судопроизводства, при которых невинно арестованный мог годами томиться в тюрьме, пока совершался медленный ход правосудия, и часто благодаря инквизиционным допросам доходил до такого состояния, что каялся в никогда не совершенном преступлении. Он требовал, чтобы все люди, без различия сословий, национальности, вероисповедания, были равны перед законом и хотел смирить высокомерное чванство немецкой аристократии, почти не признававшей человеком того злополучного смертного, который не мог прибавлять к своей фамилии частички «фон». Один из противников Бёрне, Вольфганг Менцель, о котором мы скажем ниже, упрекал его между прочим в том, что он мерит положение немцев высшим масштабом идеала и поэтому находит его неудовлетворительным. «О небо, – восклицает по этому поводу Бёрне, – требовать для немцев, этого образованнейшего, умнейшего, здоровейшего и добродетельнейшего народа в свете, то, что имеют Португалия и Испания, Франция и Англия, Бельгия, Голландия и Швейцария, то, что сумела удержать за собою силою мужества и благородства маленькая, слабая, опутанная бесчисленными сетями европейской дипломатии Греция, то, чем владеют даже негры в колониях Сьерра-Леоне и Либерии, именно: *гласный суд, присяжных* и все те учреждения, какие существуют у совершеннолетних народов и отсутствие которых низводит их на степень презренных рабов и смешных школьников, – требовать всего этого для нашего отечества – неужели это значит мерить

высшим масштабом идеала?»

Так вот какого рода была та свобода, которой Бёрне добивался для своих соотечественников, и уж конечно, в подобном стремлении обеспечить самые естественные неотъемлемые права гражданина нельзя усмотреть погони за призрачным, неосуществимым идеалом. Что же касается формы правления, то Бёрне желал для Германии лишь действительной, не «бумажной» конституции, советуя брать пример с Франции и Англии…

Если Бёрне нельзя, таким образом, считать утопистом, предававшимся грезам о невозможных на земле идеальных порядках, – то его еще менее можно считать приверженцем крайних революционных учений. Бёрне старался только о том, чтобы воздействовать на общественное мнение немцев, указать им на те ошибки, какие они сделали благодаря своей сонливости, – в этом он видел главную задачу своей публицистической деятельности: «Мы – мухи, жужжащие им в уши и кусающие в лицо», – говорил он про себя и своих единомышленников. Тайным агитатором, революционным деятелем он не был по принципу. Никогда за всю свою жизнь Бёрне не участвовал ни в одном из тайных обществ, которыми тогда кишела Германия. Заговоры, говорил он, никогда не могут привести к свободе. Если желания и силы народного большинства направлены к этой цели, то заговоры излишни, если же этого нет – они бесполезны. Даже если бы заговорщикам удалось свергнуть старую тиранию, то они водворят взамен ее новую, потому что в основе всякого тайного общества лежит аристократизм. Вообще, Бёрне признавал только прямой путь в преследовании цели. Нравственная точка зрения всегда преобладала в его суждениях. Стоит только припомнить, с какой резкостью он осудил коварную расправу Телля с тираном, чтобы убедиться в том, как мало Бёрне способен был пользоваться иезуитской моралью о цели, оправдывающей все средства.

Что действительно делает Бёрне, при всей трезвости и умеренности его политических требований, крайним идеалистом – это то, что он видел в их достижении панацею против всех зол, удручавших его отечество, возлагая на них все свои надежды относительно народного благополучия. Бёрне так был увлечен преследованием своего идеала – политической свободы, – что из-за него не хотел и не мог обратить серьезное внимание на новый вопрос, выступавший тогда на первый план в Западной Европе, – на вопрос социальный, на практике резко обозначившийся в известном восстании лионских рабочих, а теоретически нашедший себе разработку в учении сенсимонистов. Бёрне и сам

сознавал, что ему следовало бы внимательно ознакомиться с новым движением, – но его главная задача поглощала его в такой степени, что он не мог сделать этого с достаточной основательностью.

Но именно в этой односторонности, в этом полном поглощении одной идеей и заключается причина громадного влияния Бёрне. Будь он спокойнее, трезвее, разностороннее, напиши он вместо своих лихорадочных, дышащих страстью «Парижских писем» какой-нибудь новый объемистый трактат для доказательства того, что никто не имеет права насиловать мысли и чувства другого человека, – Бёрне, конечно, не произвел бы никакого впечатления. Таких книг у немцев и без того была масса. Только такие цельные, прямолинейные люди, такие фанатики идеи, способные ради нее на всевозможные жертвы, могут сильно взволновать сонное, апатичное общество. И это лучше всего доказал успех его первых «Парижских писем».

Глава VII

Последний выпуск «Парижских писем» и сравнительно слабое их действие. – Уныние Бёрне. – Его участие во французской журналистике. – Французские «Весы». – Увлечение проповедью Ламенэ. – Парижская жизнь и материальные затруднения. – Бёрне как человек. – Отношения с Гейне. – Партия «Молодая Германия» и доносы Менцеля. – Лебединая песнь Бёрне. – Последние дни и смерть Бёрне. – Заключение: Бёрне – классический писатель. – Его слог и влияние на дальнейшее развитие немецкой литературы

В 1833 году появился в печати последний выпуск «Парижских писем», но он не произвел уже такой сенсации, как два первых. За кратковременным подъемом общественной жизни, особенно в Южной Германии, последовала реакция; конституция, добытая народом в некоторых немецких землях, превратилась в мертвую букву; все свободомыслящее, не поддававшееся всеобщей спячке придавлено, осуждено на молчание. Сочинения Бёрне теперь уже были запрещены повсеместно, о возвращении в отечество нечего было и помышлять. Бёрне сначала думал продолжать печатание «Писем», – но невозможность распространять их легальным путем в Германии, полное разочарование в буржуазном правительстве Франции заставили его отказаться от этого намерения. По временам им овладевало такое уныние, что появлялась даже мысль совершенно отказаться от политики. «Послушайте, – писал он одному другу, – я хочу сочинить „Путевые картины“ à 1a Гейне и даю торжественнейшую клятву, что в них не будет ни слова о политике. Вот уже 15 лет, как я веду войну. Хочется отдохнуть и приняться за идиллии…» Но мысль эта была, конечно, лишь мимолетная: неутомимый публицист не мог отказаться от той деятельности, в которой видел весь смысл своей жизни. Несмотря на глубокий нравственный след, оставленный в нем постепенным крушением всех его надежд, несмотря на все более ухудшающееся здоровье, Бёрне продолжал работать по-прежнему, может быть, даже с большим жаром, чем прежде. Он принимал участие в журнале «Le reformateur», издававшемся его другом Распайлем, а когда этот журнал прекратился, составил смелый план самому издавать журнал на французском языке. В свои последние годы он с особенной живостью вернулся к той идее, которая занимала его еще в юности, – идее сблизить между собой французскую и немецкую нации, содействуя их мирному духовному и политическому общению, внушая им друг о друге правильный, не затемненный национальными предрассудками взгляд. Этой цели

и должен был служить задуманный им журнал, который, в память своего первого дебюта на поприще журналиста, он назвал так же – «Весы» («La Balance»). К сожалению, Бёрне совершенно упустил из виду то обстоятельство, что в то время как немцы, под влиянием испытанного ими при Наполеоне унижения, только *на время* прониклись крайней галлофобией, французы никогда не обнаруживали особенного интереса к тому, что совершалось за их пределами, и за немногими исключениями смотрели на продукты нефранцузского мышления в высшей степени пренебрежительно. К тому же французский слог Бёрне, которым так восхищался Распайль (он называл его «новым французским языком»), по своей простоте и отсутствию всякой риторики не мог нравиться средней публике, привыкшей к блестящему, бьющему на эффект фразерству своих журналистов. Издание, затеянное Бёрне, таким образом, не имело успеха, и это обстоятельство в связи с прогрессирующим упадком физических сил заставило его отказаться от своего предприятия. «La Balance» прекратились уже на третьем номере (1836 год).

К последнему периоду в жизни Бёрне относится и его увлечение знаменитым аббатом Ламенэ, книга которого «Paroles d'un croyant» [6], изданная в 1834 году, наделала в Европе немало шума. В эту эпоху возникновения всевозможных социальных теорий католическая церковь, со своей обычной чуткостью, в лице Ламенэ сделала попытку эксплуатировать социальное движение в свою пользу. Впечатлению, производимому его книгой, содействовал еще и писательский талант автора, его слог – поэтический, вдохновенный, блиставший чисто библейской образностью. Бёрне со своим сильно развитым религиозным чувством, считавший всегда религию и нравственность надежнейшими опорами свободы (на этом основании он отнесся с резким осуждением и к известной книге Штрауса «Жизнь Иисуса Христа»), также поддался обаянию Ламенэ, книга которого показалась ему как бы новым Евангелием. Чтобы сделать ее доступною своим соотечественникам, он тотчас же перевел ее на немецкий язык и отправил для напечатания в Швейцарию, отказавшись от всякого гонорара за свой труд. Несколько сот экземпляров он роздал бесплатно немецким ремесленникам, проживавшим в Париже.

В последние годы Бёрне вел в Париже самую тихую, уединенную жизнь, что не мешало ему, впрочем, зорко следить за всеми новостями и изменениями в общественной жизни столицы. Шумных многолюдных собраний он вообще не любил, а в последние два года благодаря усилившейся глухоте почти совсем перестал являться в свет, ограничиваясь обществом тесного

кружка друзей, в числе которых были и французы: Распайль, знаменитый скульптор Давид и некоторые другие. Изредка, впрочем, Бёрне еще навещал собрания своих соотечественников, большей частью бедных ремесленников, в судьбе которых принимал живейшее участие. Он заботился об их умственном развитии, помогал словом и делом и значительную часть своих доходов тратил на дела благотворительности. Доходы эти, однако, в последнее время очень сократились, так как немецкие газеты, боясь запрещений, перестали печатать его новые статьи, а на все предложения издателей предоставить им новое издание его сочинений с тем, чтобы места, неудобные в политическом отношении, были вычеркнуты, он отвечал решительным отказом. Гонорар за «Парижские письма» также перестал поступать, и Бёрне, у которого от небольшого наследства после отца благодаря его неспособности к экономии остались уже крохи, должен был значительно сократить свой бюджет именно в такое время, когда более всего нуждался в удобствах обеспеченной жизни. К счастью, примерно в это время окончательно поселилась в Париже m-me Воль. Она была теперь замужем за купцом Штраусом, восторженным поклонником Бёрне, не только ничего не имевшим против продолжения прежних дружеских отношений своей жены с любимым писателем, но предложившим ему даже поселиться вместе в одном доме. Таким образом одинокий изгнанник хоть на закате дней мог насладиться прелестями уютного семейного уголка. Он переехал к Штраусам в предместье Auteuil и здесь прожил остаток своей жизни, окруженный нежными заботами обоих супругов.

Один из биографов Бёрне, Гуцков, прежде чем перейти к изложению последних фактов из жизни знаменитого политического писателя, считает нужным уделить особое место характеристике Бёрне как *человека*.

Конечно, подобное разграничение между общественной и частной жизнью того или другого деятеля в огромном большинстве случаев является даже необходимым. Сам Бёрне в одной из своих статей, «Замечания о языке и стиле», восстает против известного изречения Бюффона «Le style c'est I'homme» [7]. Один сочиняет трогательные песни, пишет самым изящным языком – а в частной жизни является грубым и резким; другой, автор веселых комедий, у себя дома смотрит мрачным ипохондриком, и наоборот: иной в своих произведениях является настоящим мизантропом, отчаянным пессимистом – а в кругу друзей слывет веселым, жизнерадостным малым. Но по отношению к Бёрне это парадоксальное изречение является вполне оправданным. Слог Бёрне, его сочинения – это он сам, это

верное отражение его души, прямой, мужественной, чуткой к добру и красоте, ненавидящей фальшь и несправедливость. Бёрне писал точно так же, как говорил, а говорил и писал так, как думал. Мысли его рождались не только в его уме, они имели своим источником и сердце, – и Бёрне был прав, говоря: кто любит мои статьи, тот любит и меня самого.

«Все известия о Бёрне, – говорит Гуцков – единогласно утверждают, что у него сердце господствовало над рассудком, конечно подобно тому, как нежная и слабая жена может укрощать даже героя своей кротостью и рассудительностью. Сердце и рассудок жили в нем счастливой безмятежной четою. Даже сочувствие Бёрне к угнетенным, служившее одним из главных мотивов его деятельности, имело своим источником не его политическое настроение, а являлось естественным врожденным влечением его сердца. Кротость и терпение были основными чертами его характера». Он выходил из себя и злился лишь тогда, когда видел несправедливость по отношению к другим, в личных же своих отношениях был добродушен и незлобив как дитя. Редкое благородство, какая-то чарующая задушевность сказывались во всех его манерах, в его тихом, но приятном голосе и особенно в его прекрасных темных глазах. Даже мрачный Менцель, по словам Гуцкова, признавался однажды последнему в том чарующем впечатлении, какое произвел на него Бёрне при первом знакомстве: «Предо мной стоял маленький, слабый человек, кроткий и безобидный, болезненный, судя по цвету лица, – но с такими глазами, каких мне никогда не случалось встречать: столько в них было глубочайшего чувства».

Эта незлобливость Бёрне, полное отсутствие личного самолюбия, может быть, яснее всего сказываются в тот критический момент его жизни, когда после появления «Парижских писем» его личная честь и частная жизнь сделались мишенью, на которую бессильная ярость врагов устремляла свои ядовито-грязные стрелы. Всякий другой на месте Бёрне отплатил бы своим критикам той же монетой, истощил бы все средства к мщению. Бёрне остался к этим личным нападкам совершенно равнодушным и только в интересах дела счел нужным обратить против своих противников оружие сатиры. Когда он узнал, что один из рецензентов, осмеянных им в «Салате из селедки», умер во время печатания «Писем», он был искренне огорчен тем, что нельзя уничтожить написанного, так как ему казалось недостойным нападать на того, кто не может уже защищаться. Какое различие, например, с Гейне, который именно после смерти Бёрне обрушился на него со всей силой долго сдерживаемой мстительности!

Заговорив о Гейне, мы должны сказать несколько слов об отношениях обоих писателей, имена которых, несмотря на их личные несогласия, всегда ставятся рядом, как будто бы они были близнецами, и которыми Германия гордится так же, как другими «близнецами» – Шиллером и Гёте.

С Гейне Бёрне познакомился еще во Франкфурте в 1827 году и вначале был совершенно очарован личностью молодого поэта, в котором увидел гениального и надежного союзника. Действительно, на первый взгляд оба писателя, не только по происхождению, но и по особенностям таланта и политическим тенденциям, казались как бы предназначенными самой судьбой соединенными силами стремиться к одной общей цели. Подобно Бёрне, Гейне является в своих произведениях пламенным проповедником свободы. Подобно Бёрне, он поставил себе задачей устранить вековой раздор между Францией и Германией, внушить французам более высокое мнение о произведениях немецкого ума. Даже в слоге обоих писателей замечается большое сходство. Та же легкость и остроумие, то же богатство образов, пристрастие к антитезам, та же ирония, тот же смех сквозь слезы. Бёрне один из первых горячо приветствовал поэтический талант своего младшего товарища и в своих критических статьях предсказывал ему блестящую литературную будущность. В Париже, куда оба поспешили после объявления Июльской монархии, дружба их некоторое время продолжалась по-прежнему, хотя Бёрне часто недоумевал по поводу сдержанности в отношениях с ним человека, который не мог не видеть в нем единомышленника. На рассказы знакомых о дурном характере Гейне он не обращал никакого внимания. Мало-помалу, однако, внутреннее несходство обеих натур должно было привести к их взаимному охлаждению. Бёрне при всем своем литературном таланте никогда не придавал последнему особого значения. Он нисколько не стремился к славе хорошего писателя. Мысли, слова были для него лишь орудиями, которыми он дорожил только до тех пор, пока они нужны были ему для защиты его дела. Никогда не написал он ни одной строки, которая не была бы плодом глубокого убеждения, никогда ради красного словца не пожертвовал бы он не только мыслью – даже оттенком мысли. Гейне в этом отношении был совершенной противоположностью ему. Легкомысленный, тщеславный, хотя и искренне преданный идее свободы, он подчас забывал об идее в погоне за внешними эффектами. Его увлекающаяся натура часто отвлекала его в сторону от цели, заставляла искренне восхищаться такими вещами, которые шли вразрез с его убеждениями, но которые льстили его художественным инстинктам. Таким образом, он

постоянно впадал во внешние противоречия с самим собой, высказывая сегодня такие мысли, которые сам же опровергал на другой день. Так, любя свободу, он в то же время поклонялся величайшему, по мнению Бёрне, тирану – Наполеону; будучи республиканцем, он отпускал любезности изящным аристократам и насмехался над демократами, оскорблявшими его эстетическое чувство. Не было такой заветной идеи, такого священного чувства, которых бы Гейне, по своей вечно иронизирующей манере, не способен был высмеять ради красного словца. Все это, в связи с личным поведением Гейне, полным самых непримиримых противоречий, должно было в конце концов охладить к нему человека, который всегда неуклонно стремился к своей цели, не гонялся за личным успехом и сатиру свою направлял лишь на то, что казалось ему вредным.

Но если, с одной стороны, постоянное балансирование Гейне между различными лагерями вызвало недоверие Бёрне, то и прямолинейность этого последнего, доходившая до фанатизма, действовала неприятно на художественно разностороннюю натуру поэта. Гейне, гораздо менее увлекавшийся июльским переворотом, находил своего друга слишком радикальным и вовсе не желал прослыть вполне солидарным с ним. «В то время, – говорит Гуцков, – немцев, живших в Париже, охватила ассоциационная горячка – начали составляться большие союзы и товарищества для защиты и поддержки верхнерейнского дела. Гейне испугался этих громадных ассоциаций и начал тяготиться демократическими воззваниями, которые обращались к нему как к певцу свободы… Особенно сердило его то, что Бёрне, „этот болезненный человек“, разыгрывал такого ярого „людоеда“ и подписывал всякую нелепость, какую только предлагали ему…» Громкий успех «Парижских писем», по мнению Гуцкова, также раздражал тщеславного, завистливого поэта. Но вот появилась в печати вторая серия «Писем», а в них строгий, но ничуть не враждебный отзыв о «Французских делах» Гейне. Бёрне не обвинял последнего в измене, как это делали тогда многие из его единомышленников, совершенно сбитые с толку постоянными противоречиями Гейне. Бёрне даже считает его человеком в такой степени искренним, что он неспособен лгать и притворяться в продолжение пяти минут, – но человеком, у которого поэтические и художественные влечения сильнее политических симпатий и которому поэтому лучше совсем не заниматься политикой. Гейне сильно обиделся на такой отзыв и с тех пор натянутые отношения между прежними друзьями перешли в открытый разрыв. Услужливые приятели раздували эту вражду, передавая постоянно тому и другому всевозможные сплетни. Бёрне между

прочим рассказали, что Гейне грозит с ним расправиться, и чтобы выказать свое бесстрашие, он не только не уклонялся от встреч со своим противником, но даже намеренно посещал все те места, где бывал и Гейне, от чего последний раздражался еще более. Когда же в 1835 году в «Le Reformateur» была напечатана резкая рецензия о «Германии» Гейне, вражда последнего к автору рецензии сделалась уже непримиримой. К стыду великого поэта, необходимо заметить, что он не пытался возражать своему противнику при его жизни. Гейне затаил злобу и только три года спустя после его смерти написал известную книгу «О Бёрне», в которой не только старался выставить личность покойного в комическом виде, но осмелился даже пустить против него грязную клевету, тем более возмутительную, что она задевала и честь женщины. Распущенный, даже рисовавшийся своей распущенностью поэт не постеснялся выставить чистые дружеские отношения Бёрне к m-me Воль безнравственным союзом, с циническим остроумием рассказывая о совместном квартировании г-жи Воль, ее мужа и «домашнего друга». Впрочем, книгой этой Гейне повредил только себе. Даже многие из друзей поэта открыто выражали свое возмущение по поводу его недостойной выходки. С мужем оскорбленной женщины он должен был драться на дуэли, окончившейся, впрочем, благополучно для обеих сторон, после чего дал обещание при следующем издании книги о Бёрне выпустить все страницы, в которых говорилось о m-me Воль.

В том тяжелом, удрученном состоянии, в каком пребывал Бёрне с тех пор, как окончательно рухнули его мечты о коренных реформах в отечестве, его сильно потрясла весть о нарождении в Германии новой литературной партии, известной под названием «Молодая Германия». Это было последнее радостное возбуждение, значительно поднявшее дух неисправимого идеалиста. Несколько молодых писателей – Винбарг, Гуцков, Лаубе, Мундт и другие – образовали новую литературную школу, родоначальниками которой считали Бёрне и Гейне, так как от первого они заимствовали его политические, а от второго – философские и социальные тенденции. В сущности, школа эта, выступившая вначале с большими претензиями, оказала очень мало влияния на дальнейшее развитие литературы. К новому литературному периоду она не привела и в настоящее время совершенно забыта. Но в свое время писатели «Молодой Германии» наделали много шума благодаря своим эмансипационным стремлениям, и немецкие правительства с величайшей охотой приняли гнусные доносы Менцеля, по которым «молодые германцы» хотели будто бы ниспровергнуть

христианство и монархию, уничтожить брак и семью и сделать общество безнравственным. Начались преследования писателей новой школы. Сочинения их запрещались; самих их заключали в крепости или изгоняли из страны. Дело раздули в такой громадный пузырь, точно Германии грозила всеобщая революция.

Бёрне был сильно взволнован известием о появлении «Молодой Германии». Желая получить верное представление о писателях этой школы и их тенденциях, он обращался письменно к разным знакомым в Германии, прося доставить ему сведения о «молодых германцах», подробный перечень их произведений и отчет о впечатлении, производимом ими на общественное мнение. Конечно, при ближайшем знакомстве Бёрне должен был убедиться, что представители «Молодой Германии» – народ еще незрелый, он даже сам раскритиковал юношеский роман Гуцкова «Валли», из-за которого, главным образом, и загорелся сыр-бор, так как одно из действующих лиц романа позволяет себе некоторые непочтительные выходки против христианства и тем подало повод обрушиться на всю школу. Но в то же время Бёрне счел своим долгом заступиться за преследуемых писателей против недобросовестных обвинений врагов, в особенности же – против упомянутого Менцеля.

Вольфганг Менцель, один из влиятельнейших критиков того времени, издатель «Literatur-Blatt», в котором одно время сотрудничал и Бёрне, еще недавно принадлежал к либеральному лагерю. Он ратовал за эмансипацию евреев, за необходимость реформы в Германии, был противником Гёте и восторженным почитателем Бёрне. Первое слово литературного одобрения «Парижских писем» в Германии принадлежит именно ему. «Никакие запрещения, никакая подпольная критика, – писал он тогда, – не будут в состоянии сорвать с головы Бёрне лавровый венок, столь славно заслуженный им. Его гениальность обеспечивает за ним на вечные времена одно из почетнейших мест в ряду первых светил нашей литературы. Его благородное негодование побуждает всех патриотов относиться к нему с величайшим уважением».

Но изменились времена, изменилось направление ветра, и Менцель, сбросив с себя маску либерализма, стал громить все то, чему до сих пор поклонялся… Помимо доносов на «Молодую Германию», он стал обнаруживать настоящую идиосинкразию ко всему, что только было французского происхождения или питало симпатию к французам. Франция как страна, откуда шли все те либеральные идеи, которые он раньше сам выставлял на своем знамени, теперь сделалась для него предметом жесточайшей ненависти. Он изображал ее источником всякого зла и пороков,

современным Вавилоном, и всячески предостерегал немцев от общения с нею. Что же касается Бёрне, то по отношению к нему Менцель даже после этой перемены фронта некоторое время еще сохранял сдержанность. Но когда Бёрне стал издавать журнал «La Balance» именно с целью сближения обеих национальностей и в первом номере поместил меткую критику на новое направление Менцеля, под заглавием «La gallophobie de M. Menzel», – последний совершенно потерял самообладание и с тех пор сделался ожесточенным врагом Бёрне. Снова выступили на сцену прежние обвинения Бёрне в нелюбви к Германии, в желании унижать своих соотечественников путем возвеличивания французов. Забыв, что он сам еще так недавно прославлял Бёрне величайшим патриотом Германии, называл последнюю его невестой, а невежливое обращение с ней Бёрне – капризом влюбленного человека, Менцель теперь не стеснялся, посредством передергивания отдельных мест из недоступных большинству публики французских «Весов», навязывать Бёрне такие нелепости, будто бы последний считает немецкий патриотизм – глупостью, а французский – вполне похвальным качеством. Из своего безопасного убежища в Париже Бёрне, по словам Менцеля, с желчностью больного человека извергает хулу на все немецкое и, не имея никаких положительных принципов, хотел бы разрушить все существующее, а водворение новых порядков предоставить французам и так далее.

Бёрне был искренне огорчен изменой прежнего союзника и в своей статье «La gallophobie de M. Menzel» не мог удержаться от горестного восклицания по его адресу: «И ты, Брут!» Но когда Менцель в своих нападках на либеральный лагерь совершенно утратил чувство меры, а в статье «Бёрне и немецкий патриотизм», помещенной в «Literatur-Blatt» (1836 год), осмелился даже назвать Бёрне «перебежчиком» на сторону французов, желавшим облегчить им победу над немцами, – последний увидел себя вынужденным остановить расходившегося доносчика и с этой целью написал свою знаменитую статью «Менцель-французоед», по справедливости считающуюся одним из лучших произведений не только Бёрне, но и вообще европейской публицистики. Это настоящий chef-d'oeuvre убийственной логики и уничтожающей иронии. Статья эта навеки заклеймила Менделя в общественном мнении доносчиком и «французоедом».

«Менцель-французоед», помимо своего полемического назначения, представляет еще отчасти проповедь космополитизма: не расплывчатого, совмещающегося с равнодушием, а того космополитизма, в который входит и патриотизм как один из основных его элементов. Эпиграфом

этого произведения автор взял слова Фенелона: «J'aime mieux ma famille que moi, ma patrie que ma famille, et 1'univers que ma patrie (Я люблю мою семью более, чем себя, отечество – более, чем семью, и человечество – более, чем отечество)». Бёрне, подобно всем националистам, считает патриотизм чем-то врожденным, естественным и священным; но истинный патриотизм, истинная любовь к отечеству заключается не только в том, чтобы охранять последнее от внешних врагов, но и в том, чтобы оберегать его от бедствий внутренних, которые гораздо чаще и злокачественнее внешних бедствий. А между тем властители, направляющие общественное мнение, нравственность и воспитание только к своей выгоде, считали добродетелью и награждали только тот патриотизм, который восставал против внешних врагов, потому что он обеспечивал за ними власть, давал им возможность представлять врагом их народа всякое чужеземное правительство, которое они собирались покорить.

«Любовь к отечеству, – продолжает Бёрне, – проявляется она внутри государства или вне его, остается добродетелью только до тех пор, пока не выходит из своих пределов; после этого она становится пороком. Слова г-на Менцеля: „Все действия для отечества прекрасны“– нелепая и в то же время преступная фраза. Нет, только тот действует прекрасно, кто старается именно о благе *всего отечества,* а не отдельного человека, сословия или интереса, которые, интригами или насилием, сумели выдать самих себя за все отечество». «Нельзя, – говорит Бёрне в другом месте статьи, – служить своему отечеству, делая несправедливость по отношению к другому народу. Разве эгоизм государства не такой же порок, как эгоизм отдельного человека? Разве справедливость перестает быть добродетелью, как скоро ее применяют к чужому народу? Прекрасна честь, запрещающая нам объявить себя в пользу своего отечества, когда рядом с ним не стоит справедливость!»

Бёрне доказывает также, что задача публицистики заключается не в том, чтобы разжигать народы друг против друга, – политическая идея нашей эпохи заключается не в соперничестве государств, а в их органическом внутреннем развитии. «Передовые люди обоих государств, – говорит он, – должны были бы стараться о том, чтобы молодое поколение Франции соединилось с молодым поколением Германии взаимной дружбой и уважением… Неужели же нерушимая дружба и вечный мир всех народов – не что иное, как грезы? Нет, ненависть и война – грезы, от которых мы когда-нибудь очнемся».

Статья «Менцель-французоед» была принята публикой с энтузиазмом. Что особенно сильно действовало на всех – так это

сам тон сочинения, совершенно непохожий на тон «Парижских писем»; здесь нет более ничего резкого, желчного, продиктованного страстью. Манера автора спокойная, полная достоинства и в то же время какой-то тихой скорбной грусти. Видно, что сознание превосходства над противником не внушает ему никакого самодовольного чувства, что ему, напротив, самому больно вечно бороться с подлостью и глупостью. Слова, которыми начинается это произведение, характеризуют самого Бёрне и могут служить лучшим эпиграфом к его собственным произведениям.

«Мои друзья и единомышленники, – говорит он, – часто упрекают меня в том, что я мало пишу, редко поднимаю голос в пользу моего глухонемого отечества. Ах! Они думают, что я пишу, как другие, чернилами и словами; но я пишу не так, как другие: я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов, и у меня не всегда хватает духу собственной рукой причинять себе боль и не всегда хватает сил долго переносить ее…»

Даже Гейне в упомянутом нами памфлете, написанном после смерти Бёрне, не может не отдать должной дани тому благородству духа и глубокому патриотизму, которые его противник проявляет особенно сильно именно в этом последнем своем произведении.

«„Менцель-французоед“, – говорить Гейне, – есть защита космополитизма от национализма; но из этой защиты видно, что у Бёрне космополитизм был только в голове, а патриотизм пустил глубокие корни в сердце, тогда как у его противника патриотизм засел только в голове, а в сердце зевало самое холодное равнодушие… Из сердца Бёрне вылетают тут трогательнейшие, безыскусные звуки патриотического чувства – вылетают, точно стыдливые признания, которых нельзя удержать в последние минуты жизни и которые – скорее рыдания, чем слова. Смерть стоит тут же и кивает головой, как неопровержимый свидетель их правдивости… Слог Бёрне в этой статье достигает высшей степени развития, и как в словах, так и в мыслях господствует гармония, свидетельствующая о болезненном, но возвышенном спокойствии. Эта статья – светлое озеро, в котором небо отражается со всеми своими звездами, а дух Бёрне плавает и ныряет в нем, как прекрасный лебедь, спокойно стряхивая с себя оскорбления, которыми чернь пачкает его белые перья. Оттого-то эту статью называют лебединою песнью Бёрне…»

Это была действительно лебединая песнь Бёрне и вместе с тем его политическое завещание. Талант его только что достиг своего расцвета, внутренняя жизнь еще кипела ключом, – но физические силы быстро угасали. Когда улеглось радостное

возбуждение, вызванное в нем много обещавшими событиями во Франции и на время как бы обновившее его слабое тело, прежние недуги овладели им с новой силой и уже не выпускали из своих когтей. В последнее время он так исхудал, что походил на тень прежнего Бёрне. Горе и страдания провели на его приветливом лице глубокие морщины, блеск глаз потух. Бёрне знал, что дни его сочтены, но смотрел на приближение смерти со спокойствием философа. Только временами его охватывало горькое чувство при мысли о том, что он умирает, ничего не добившись, что ему даже не удалось совершенно высказаться. Еще за несколько недель до смерти, рассказывает Гуцков, он оживленно беседовал с собравшимися у него друзьями. Было 10 часов вечера. Бёрне ходил по комнате взад и вперед и о чем-то горячо говорил, но вдруг остановился, схватился руками за голову и воскликнул: «Голова моя так полна, так полна, что я не знаю, куда мне деваться со всеми моими мыслями. Я имею еще так много высказать – о жизни, философии, искусстве, науке! Собственно говоря, я еще ничего не написал. Эти проклятые политические дела не дают мне ни минуты покоя, не позволяют сделать хоть что-нибудь законченное!»

В начале 1837 года состояние его здоровья стало совершенно безнадежным. Грипп, свирепствовавший в Париже, ускорил развязку. Любопытно, что Бёрне, всю жизнь относившийся недоверчиво к медицине, как раз в последние годы возымел странную фантазию самому лечить себя. Он почему-то был убежден, что ежедневные холодные обливания водой должны действовать укрепляющим образом на его больную грудь, и, несмотря на плохие результаты, с непобедимым упорством продолжал свою систему лечения, пока только позволяли силы. В постель он слег лишь за два дня до смерти, но до последней минуты сохранял полную ясность духа и даже свой обычный юмор. Незадолго до смерти на вопрос доктора «Какой у Вас сегодня вкус?» он ответил шутливо: «Никакого, как в немецкой литературе». 12 февраля 1837 года было последним днем в его жизни. У постели умирающего писателя со слезами на глазах стояли его ближайшие друзья – супруги Штраус, доктор Герне, его верный слуга Конрад, которого Бёрне увековечил в своих произведениях. На г-жу Воль он устремил долгий взгляд, исполненный любви и грусти, и прошептал: «Вы принесли мне много радости в жизни». В три часа пополудни ему захотелось увидеть солнце. Окружающие отдернули занавески, он сел в постели и попросил цветов. Ему подали букет. Потом он пожелал услышать музыку, но во всей квартире оказался только один музыкальный инструмент – играющая табакерка. Перед самой

кончиной он почувствовал себя лучше, как это часто бывает с умирающими. Смерть тихо, почти незаметно, подкралась к нему, и в 10 часов вечера неутомимый борец уснул навеки с застывшей на устах светлой, безмятежной улыбкой…

Весть о смерти знаменитого политического писателя вызвала в Германии искреннюю печаль среди его многочисленных почитателей; даже враги присмирели и не осмеливались некоторое время повторять свои недобросовестные обвинения. Все журналы, без различия оттенков и направлений, поместили горячо прочувствованные некрологи, в которых еще более, чем писательские заслуги покойного, восхвалялись его стойкость и безусловная честность. Немцы, жившие в Париже, устроили ему скромные, но торжественные похороны, а над открытой могилой опочившего страдальца его друг Распайль произнес замечательную речь, в которой с глубоким чувством и необыкновенным мастерством обрисовал и великую душу, и великое дарование незабвенного покойника.

Из всех оценок и характеристик деятельности великого немецкого писателя эта оценка, принадлежащая французу, – одна из самых лучших, и мы сожалеем, что рамки нашего очерка не позволяют нам привести эту замечательную речь хотя бы в извлечении.

Бёрне похоронен на кладбище Père Lachaise, рядом с Бенжаменом Констаном, Фуа и Манюэлем. Спустя несколько лет над могилой его был воздвигнут памятник, сделанный по рисунку знаменитого скульптора Давида. Памятник представляет усеченную пирамиду из полированного гранита, высотою около 10 футов, покоящуюся на пьедестале из желтого песчаника. В верхней части пирамиды, в нише, помещается бронзовый бюст Бёрне, отлитый по модели Давида, а в нижней части – бронзовый же рельеф, пластически выражающий ту идею, которая красной нитью проходит через все произведения знаменитого писателя: на рельефе изображены аллегорические фигуры Франции и Германии, руки которых соединяет богиня Свободы.

Бедный Бёрне! Из всех идей, служению которых он так самоотверженно посвятил свою жизнь, идея, так удачно выраженная художником на его памятнике, менее всех достигла осуществления. Прошло более полувека с тех пор, как умолкла его пламенная проповедь мира и братского единения между народами. Германия добилась желанного единства и пользуется значительной долей той свободы, о которой мечтал для нее Бёрне; Франция – республика… А между тем прочный мир и дружеское соседство между обеими нациями все еще принадлежат к области отдаленных мечтаний. «Прекрасен будет

тот день, когда на тех самых боевых полях, на которых некогда дрались между собою отцы французов и немцев, эти народы вместе преклонят колена, и обнимутся, и станут молиться на могилах своих предков!» Но этот день, о котором мечтал Бёрне в своем введении к «Balance» и который в воображении он видел уже близким, в настоящее время кажется отодвинувшимся в еще более отдаленное будущее.

Но что же это доказывает? Да в сущности лишь то, что немцы, несмотря на сделанные ими успехи, могут еще многому поучиться у этого писателя. Сочинения Бёрне и в настоящее время не могут считаться устаревшими.

Пусть отдельные из идей, которые он проводил, оказались односторонними или неосуществимыми, пусть многие из тех зол, против которых он ополчался, уже уничтожены, – но начала, лежащие в основании его деятельности, никогда не устареют, никогда не перестанут производить впечатление на человеческое сердце. Эти начала – любовь к добру, правде и красоте, требование справедливости в отношениях отдельных индивидуумов и целых наций, уважение к прирожденным правам человека, любовь к свободе, сочувствие к угнетенным… Они-то и создают из отрывочных мелких произведений Бёрне нечто законченное, цельное, они-то отчасти и придают его публицистической деятельности, рассчитанной для потребностей минуты, тот величавый, непреходящий характер, какой носят в себе только произведения гениальных писателей и поэтов.

Сочинения Бёрне представляют большой интерес и в культурно-историческом отношении. Вся жизнь тогдашнего общества, все вопросы, волновавшие умы передовых людей, отражаются, как в зеркале, в его произведениях, и для историка той эпохи – эпохи Священного Союза и реакции, эпохи кратковременного подъема общественной жизни после июльской революции и наступившего за этим нового затишья – «Парижские письма» и другие произведения Бёрне представляют самый драгоценный культурно-исторический материал. Правда, лица и события иногда отражаются в его изображениях не такими, какими они были в действительности, – а какими представлялись автору и многим тысячам его современников, но это-то именно и важно, потому что вводит нас, так сказать, в лабораторию духа тогдашнего общества. Бёрне является лучшим истолкователем и выразителем общественного мнения. Он сам – тип, и может быть, самый характерный тип своего времени.

Но что делает сочинения Бёрне одним из интереснейших чтений для людей всякого направления и политических партий – так это его громадный, никем не оспариваемый писательский

талант, его удивительный, несравненный, неподражаемый слог. Как писатель Бёрне представляет почти исключительное явление в истории немецкой литературы. Публицист, никогда не заботившийся о своей литературной славе, политический деятель, смотревший на свое перо лишь как на орудие пропаганды, Бёрне помимо своего желания сделался писателем-классиком, произведшим настоящий переворот в стилистических приемах того времени. Конечно, сам слог Бёрне – эта оригинальная смесь легкости и серьезности, наивности и одушевления, юмора и резкой сатиры, – вообще вся манера этого автора благодаря своей необыкновенной субъективности не может служить образцом для других, и те писатели, которые старались подражать ему, впадали только в карикатуру. Но легкая, общепонятная форма, в какую он облекал свои мысли, отсутствие всякого педантизма и изящная простота в изложении оказали громадное влияние на все направление немецкой журналистики. Бёрне наряду с Гейне принадлежит та заслуга, что они своими насмешками и собственным примером научили своих соотечественников писать легко, понятно и живо, заставили их устыдиться той тяжеловесности и туманной мечтательности, которые считались у немцев признаком особенной учености и делали их предметом нескончаемых насмешек со стороны соседних народов.

Источники

Главными источниками при составлении этой биографии служили:

1 *Ludwig Boerne's* gesammelte Schriften.

2. Briefe des jungen *Boerne* an Henriette Herz. 1861.

3. Aus Boerne's Leben, von *Dr. Reinganum.*

4 *Karl Gutzkow,* Boerne's Leben. 1845.

5 *Alberti,* Ludwig Boerne. 1886.

6. *Holzmann,* Ludwig Boerne, sein Leben und sein Wirken. 1888.

7 *Утин.* Политическая литература в Германии. «Вестник Европы», 1870.

8. *Treitschke,* Geschichte der deutschen Nation, 3 Band.

Приводимые в нашем очерке цитаты заимствованы большей частью из избранных сочинений Бёрне, перевод П. И. Вейнберга.

notes

Примечания

от случая к случаю *(нем.)*

воли *(фр.)*.

увеселительные прогулки *(фр.)*

4

Взгляд Бёрне на Реформацию был, впрочем, нов и смел лишь для того времени. В настоящее время существует целая школа писателей – не одних только католических, – придерживающихся такого же отрицательного отношения к Реформации.

исповедание веры, кредо *(фр.)*.

«Слово верующего» *(фр.)*.

7

«Стиль – это человек» *(фр.)*.